

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

дорогая
поэтому
исими
мамошка
ими

Мамошка
2 класс.
очень долго
рисую
мамошка
дорогой.
ты писала
ед нет бумаги
тебе пришла
затобой
Богше



ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

СТАЛИНИЗМ В КАЗАХСТАНЕ –
ПРОШЛОЕ, ПАМЯТЬ, ПРЕОДОЛЕНИЕ

Алматы



2019

УДК 94 (574)
ББК 63.3 (5 Қаз)
Ж 66



Точка зрения авторов, отраженная в данной публикации, может не совпадать с точкой зрения Фонда Сорос-Казахстан. Ответственность за факты, сведения, суждения и выводы, содержащиеся в публикации, несут авторы.

Автор вступительной статьи
Катриона Келли

Ж 66 Живая память. Сталинизм в Казахстане – Прошлое, Память, Преодоление / Под ред. Ж.Б. Абылхожина, М.Л. Акулова, А.В. Цай. – Алматы: «Дайк-Пресс», 2019. – 272 с.

ISBN 978-601-290-110-8

Коллективная монография «Живая память» изучает историю сталинских репрессий в Казахстане в 1930–1940-х годах, память о них и их осмысление современным казахстанским обществом. Сборник состоит из трех разделов: «История», «Память», «Искусство» – и обращается к истории сталинизма: коллективизации сельского хозяйства, индустриализации, принудительным депортациям, массовым репрессиям и организации системы исправительно-трудовых лагерей. В эссе поднимаются темы тоталитарного государственного насилия и коллективной памяти о том периоде лишений, страданий, нарушений прав человека. Авторы предпринимают попытку преодоления коллективной исторической травмы через инструменты искусства.

УДК 94 (574)
ББК 63.3 (5 Қаз)

ISBN 978-601-290-110-8

© Ж.Б. Абылхожин, М.Л. Акулов,
А.В. Цай, 2019
© ТОО «Дайк-Пресс», 2019

БЛАГОДАРНОСТЬ

В этой публикации принимало участие большое количество самых разных людей, представляющих разные поколения, сферы деятельности и страны. Мы выражаем благодарность и признательность всем авторам сборника, а также Фонду Сорос-Казахстан за поддержку, оказанную в публикации сборника «Живая память» и лично – Антону Артемьеву, Аиде Айдаркуловой и Айжан Ошакбаевой.

Эта книга была бы невозможна без встреч, проведенных в рамках лектория Open Mind. Многие из его участников – как лекторы, так и организаторы – являются редакторами и авторами этой книги. Мы выражаем нашу благодарность Сауле Сулейменовой, Валерии Ибраевой, Умиде Ахмедовой, Ажар Джандосовой, Валерии Коротковой, Валерию Михайлову, Зарине Ахматовой, Берику Абдыгалиеву, Дине Мухамедхан, Евгению Жовтису.

К сожалению, мы не можем перечислить всех наших друзей, которые помогли нам в организации серии лекций «Живая память», из которых и произрос этот сборник. Арслан Аканов, Лена Позднякова, Виталий Морозов, Алуа Сулейменова, Суинбике Сулейменова – вы не только облегчили нам нашу работу, но и сделали ее в высшей степени приятной. Огромная благодарность волшебнице Лиле Калаус за чуткость к слову и литературную редактуру, Абылаю Стамбаеву и Адине Тулегеновой за кропотливую редакторскую работу над окончательной версией текстов, художнице Зое Фальковой за обложку сборника. Наше отдельное спасибо Тимуру Нусимбекову за идею выпуска книги.

И конечно же, мы еще раз хотели бы поблагодарить Катриону Келли, известного британского ученого, историка русской и советской культуры, члена Британской академии наук. Профессор Келли быстро отозвалась на наше приглашение прочитать лекцию в южной столице в середине учебного семестра, а затем написала для сборника замечательное вступление. На лучший комплимент мы не могли и рассчитывать.

Мы посвящаем эту книгу нашим бабушкам и дедушкам, потому что без них ничего бы не было.

*Кто не помнит своего прошлого,
обречен пережить его снова.*

Джордж Сантаяна (1863–1952),
американский философ и писатель

Тема политических репрессий – одна из тех, к которой возвращаешься вновь и вновь. Работая много лет в области прав человека, прозрачности и подотчетности, наиболее остро понимаешь тот страх, ужас и несправедливость, которые происходили в те годы в нашей стране. Десятки тысяч погибших, сотни тысяч безвинно осужденных и насильно переселенных, поломанные судьбы, разбросанные семьи и прерванные поколения – все это следствия авторитарной политики, отсутствия верховенства права и несоблюдения прав человека.

Карлаг, Мамочкино кладбище и А.Л.Ж.И.Р. – за этими названиями стоят люди: мужчины, женщины и дети, их несбывшиеся мечты, надежды, чаяния и тяжелое, непереносимое чувство вопиющей несправедливости. Как вспомнить каждого? Как дать понять, что их жизнь, работа, любовь, дружба не были напрасными, имели значение и важны до сих пор?

Только сохраняя память, восстанавливая по крупицам историческое прошлое, не позволяя забыть никого и ничего, постоянно рефлексировав о произошедшем, мы способны выполнить свой человеческий и гражданский долг перед всеми жертвами политических репрессий того периода и сделать шаг в будущее, в котором подобное никогда не повторится.

На протяжении нескольких лет наш фонд поддерживал самые разные проекты, связанные с темой политических репрессий. Наиболее запоминающимся был арт-проект «1937: Территория

памяти|Жоқтау», который включал в себя выставку работ современных авторов, в том числе видеофильм, работы знаковых репрессированных художников, издание каталога, серию тематических встреч с историками и общественными деятелями. Выставка «Территория памяти|Жоқтау» была представлена в трех городах: Алматы, Нур-Султане и Караганде.

В 2016 году мы поддержали проведение цикла лекций «Живая память». Шесть встреч/лекций были посвящены самым разным аспектам этого сложного и по-разному интерпретируемого периода в истории нашей страны: от исторического взгляда на события тех лет до культурных паттернов, сформировавшихся в те годы. Недавно мы поддержали продолжение этой инициативы, но уже в других форматах, предложенных автором проекта Александрой Цай. Это серия подкастов на данную тему и коллективная монография «Живая память», включающая в себя наряду с академическими лекциями и личные истории авторов книги. Книга вышла ограниченным тиражом, но найти ее можно будет в некоторых библиотеках нашей страны, а электронная версия размещена на нашем сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы книга была доступна как можно большему кругу читателей.

Светлая память всем пострадавшим от репрессий. Пусть это печальное прошлое не повторится никогда и нигде.

*Аида Айдаркулова,
председатель правления Фонда Сорос-Казахстан*

Катриона Келли

ВВЕДЕНИЕ

С момента своего появления в 1922 году СССР являлся одновременно многонациональной империей и государственным строем, основанным на социалистическом интернационализме. Эта неоднозначная идентичность закреплялась в статусе союзных республик, чье формальное положение автономных субъектов федерации не освобождало их от контроля из центра. Центральная Азия, в частности, была витриной советской модернизации, но в то же время и далекой периферией, подверженной почти такому же снисходительному отношению со стороны представителей столичной элиты, как и отдаленные районы русской глубинки.

Безусловно, в самый эгалитарный период советской истории (1917–1927 гг.) «великорусский шовинизм» подвергся табуированию, и в это же время были предприняты серьезные усилия для укрепления политического, социального и культурного равенства так называемых «нацменьшинств»¹. Однако к концу 1930-х годов в условиях «социализма в отдельно взятой стране» и «дружбы народов», отраженных в образе Сталина в

¹ См. в частности, *Martin, T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. – Ithaca: Cornell University Press, 2001. Это не отрицает централистскую и нисходящую природу управления, которое имело место даже в это время, о чем говорят, например, *Michaels, A.P.* Curative Powers: Medicine and Empire in Stalin's Central Asia. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2003; *Hirsch, F.* Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. – Ithaca: Cornell University Press, 2005.

сопровождении детей из национальных меньшинств, таких как Мамлакат Нахангова (обычно это девочки, символизирующие очевидное подчинение), жесткое центральное управление стало нормой. Превращение «населения» в «народы» между 1928 и 1938 годами (или «племен» и «рас» в «нации» в терминах самого Сталина в «Марксизме и национальном вопросе») представляло собой не просто «строительство нации» и «образование государства», но также посягательство на территориальную целостность и права советских подданных по всей стране.

Управление из центра продолжалось и после смерти Сталина, а регионализация СССР так и осталась запоздалой и частичной¹. В докладе Хрущева «О культуре личности и его последствиях» на XX съезде КПСС, за исключением депортации чеченцев и балкарцев во время войны, репрессии против национальных меньшинств не были упомянуты². Последующие дискуссии о политических репрессиях в сталинские годы (самый известный источник – «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына) также были посвящены российской метрополии. Наряду с молчанием сохранялось пренебрежительное отношение к нерусским регионам СССР. В 1963 году ленинградские архитекторы и проектировщики связывали медленный прогресс в производстве современных стильных обоев с тем фактом, что большая часть того, что было произведено, в конечном итоге

¹ Для исследования противоречий, см. *Suny, R. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union.* – Stanford CA: Stanford University Press, 1993.

² Это объясняется не столько ксенофобией, сколько стремлением Хрущева к региональной консолидации. См. его обращение к активистам ленинградской партии 7 мая 1954 года, через четыре дня после того как Президиум ЦК Коммунистической партии издал указ о реабилитации жертв партийной чистки 1949–1950 годов, «Ленинградское Дело». (См. «Постановление Президиума ЦК КПСС от 3 мая 1954 г. по Ленинградскому делу», в «Реабилитация: как это было. Март 1953 г. – февраль 1956 г. Документы» / под ред. А. Артизова, Ю. Сигачева, И. Шевчука, В. Хлопова. – Москва: Демократия, 2000. С. 115–116, 136–142).

уходила на периферию. Самыми популярными образцами дизайна были «Китайская ваза» и «Табачные листья», а также другие безвкусные изделия: «торговые организации опираются на требования периферии, которой якобы нужны, с учетом национальных вкусов, обои, имитирующие ковры, гобелены и др. рисунки низкого качества»¹. По большому счету, для понимания влияния советской истории на регионы, на этнические меньшинства в России и нерусские республики пришлось ждать распада СССР в 1991 году. Уже тогда широко распространилось то, что казахский историк М.К. Койгельдиев назвал «периферийным сознанием»².

Неудивительно, что всплеск исторических работ, последовавший за распадом СССР, был связан не только с желанием высказаться о ранее подавляемом опыте, но и с целью поспособствовать развитию стран-преемников³. Исследования часто

¹ См. «Стенографический отчет Ленинградского Отдела Союза Архитекторов СССР. Заседание Архитектурно-технического совета совместно с Правлением Л.О. Союза Архитекторов СССР» (8 февраля 1963 года), ЦГАНТД, государственный архив научно-технической документации, ф. 386, оп. 1-6, д. 196, л. 6, л. 9. Для подробного обсуждения отношения ленинградского мегаполиса к культурам из-за пределов «Европы», см. *Келли К.* «Гости нашего города»: Мигранты в «самом европейском городе России». – НЛО, 2014, № 3 (127) [Электронный ресурс] // <http://magazines.russ.ru/nlo/2014/3/32k.html>

² См. *Койгельдиев М.К.* Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920–1940-х годов. – Алматы, 2009. С. 12. Койгельдиев также приводит и другие факторы для относительно неразвитой дискуссии о прошлом: не было «архивной революции», подобной той, которая произошла в России в 1990-х годах, а также отсутствовало соответствующее законодательство о переходе документов в общественное достояние.

³ Это обычное явление в постколониальных обществах. В первые десятилетия независимости Ирландии прошлое также в основном использовалось для того, чтобы усилить чувство определенной обиды, в то время, как историки, выступавшие за более сложное понимание истории, обвинялись в «ревизионизме». Сегодня даже такая важная национальная трагедия, как картофельный голод, может обсуждаться в глобальном контексте, как, например, в работе *Ó Gráda, C.* *Famine: A Short*

фокусировались на определенных историко-географических областях (обычно отождествляемых с административными единицами советского периода, от республик до областей и районов)¹. Изучение Кавказа, Центральной Азии, Украины и (в послевоенные десятилетия) Балтики и Беларуси в целом проходило по национальным установкам. Потери, понесенные при этом, значительны, поскольку, как метко выразился Никколо Пьянчола: «Историографии, основанной на национальных парадигмах, сосредоточенной на одной этнической группе, свойственно создавать диахроническое туннельное видение. «Национальная история» и текущие политические трудности – это нарративные контексты, формирующие понимание изучаемого события. Этот подход не поощряет сравнения и более широкую контекстуализацию»².

Следует подчеркнуть, что эта критика относится не только к ученым из бывшего СССР, но и к тем, кто находится по другую сторону бывшего железного занавеса. Хотя исследователи за пределами новых национальных государств с меньшей вероятностью склонны поддерживать проекты по национальному строительству, их взгляд тоже весьма узок. До распада СССР лишь немногие имели возможность проводить

History. – Princeton: Princeton University Press, 2009 или на выставках Национального музея голода в Строкстауне, графство Роскоммон, Ирландия, которые направлены не только на то, чтобы изложить факты о картофельном голоде, но и на то, чтобы изучить вопрос голода в современном мире. [Электронный ресурс] // <http://www.strokestownpark.ie/famine/national-famine-museum/>

¹ Для обсуждений этого в контексте Центральной Азии см. *Абашии С.* Национальности в Средней Азии: в поисках идентичности. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2007.

² См. *Pianciola, N.* Ukraine and Kazakhstan: Comparing the Famines. Roundtable on Soviet Famines // *Contemporary European History*, vol. 27, no. 3, p. 441. Статья Пьянчола, к сожалению, единственная статья этого круглого стола, которая убедительно обосновывает этот сравнительный подход, а не повторяет обычные дебаты о намеренности и функционализме в исследовании сталинской эпохи.

длительные исследования за пределами российской метрополии¹. С тех пор языковые ограничения и проблемы аккультурации, а также продолжающееся геополитическое доминирование России, бывшей метрополии, привели к маргинализации работ по истории региона, часто именуемого, особенно в англоязычном мире, весьма туманно «Евразией». Примечательно, что первое углубленное исследование на английском языке такого важного события, как казахстанский голод 1930–1933 годов, появилось только в 2018 году, отставая от работ историков из Франции, Италии и Германии, а также из Казахстана и России². Это тем более прискорбно, ведь, как утверждала автор этой книги Сара Кэмерон, обсуждение истории периферийных

¹ Исключение составляли работы в сфере социальных наук, например, антропологов и социологов. См. *Humphrey, C. Karl Marx Collective: Economy, Society, and Religion on a Soviet Collective Farm.* – Cambridge: Cambridge University Press, 1983; *Grant B. In the Soviet House of Culture: A Century of Perestroikas.* – Princeton: Princeton University Press, 1995; *Bridger, S. Women in the Soviet Countryside: Women's Roles in Rural Development in the Soviet Union.* – Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

² См. *Cameron, S. The Hungry Steppe: Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan.* – Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018; *Ohayon, I. La sédentarisation des Kazakhs dans l'URSS de Staline, Collectivisation et changement sociale (1928–1945).* – Paris: CNRS, 2006; *Pianciola, N. Stalinismo de frontiera: Colonnizzazione agricola, sterminio di nomadi i costruzione sociale in Asia centrale, 1905–1936.* – Roma: Viella, 2009; *Kindler, R. Stalins Nomaden: Herrschaft und Hunger in Kasachstan.* – Hamburg: Hamburger Edition, 2014. Пьянчола также много публиковался на английском и русском языках (см. его страницу на academia.edu), Охайон на английском и французском языках, а книга Киндлера была переведена на русский язык («Сталинские кочевники: власть и голод в Казахстане», Москва: RossPEN, 2017) и на английский (*Stalin's Nomads: Power and Famine in Kazakhstan*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2018). Это делает еще более странным комментарий ведущего американского историка на обложке книги Сары Кэмерон о том, что ее книга является «первой научной работой о смертоносном голоде 1930–33 годов», даже если это описание отнести исключительно к работам западных ученых.

областей ставит насущные вопросы о природе советского правления, которые имеют ключевое значение для понимания исторической конъюнктуры того времени¹.

Сильная сторона этого сборника, отредактированного Жулдузбеком Абылхожиным, Михаилом Акуловым и Александрой Цай и посвященного репрессиям сталинской эпохи в Центральной Азии, заключается именно в диалоге ученых из разных интеллектуальных традиций, изучающих разные этнические группы («национальности» на «советском» языке). К последним относятся как «титulyные национальности», такие как казахи и узбеки, так и меньшинства – депортированные из Польши, русские художники в Узбекистане. Наблюдается также чуткость к курьезам и причудам репрессивных механизмов – ведь республики на периферии Советского Союза в то же время были и местными «метрополиями» с их собственными удаленными провинциями. Так, в главе Жулдузбека Абылхожина о коллективизации в Казахстане говорится не только об исключительной жестокости репрессий (было уничтожено 90% скота во время хлебозаготовки и седентаризации), но и приводится конкретная риторика местного руководства для оправдания нападения на местные практики: «Перегибов не допускать – пар-

¹ См. *Cameron, S. The Hungry Steppe*, p. 15. Далее: «В то время как Сталин инициировал жестокую политику, вызвавшую казахский голод, он, похоже, не отслеживал события в республике с тем же вниманием, которое он уделял основным зернопроизводственным регионам, таким как Украина». Пьянчола, с другой стороны, утверждает, что материал из РГАЭ указывает на высокий уровень центрального, если не личного, контроля над процессом коллективизации и особенно с точки зрения эксплуатации Казахстана в качестве хранилища продовольствия для городов в метрополии. См. его следующую заметку: «решение, принятое в Москве в июле 1930 г., о превращении Казахстана в стратегический советский резерв мяса для преодоления продовольственного и производительного кризиса, вызванного коллективизацией» (*Пьянчола Н. Сталинская «иерархия потребления» и великий голод 1931–1933 гг. // Ab Imperio. 2018, No. 2, p. 83. В любом случае обсуждение этого вопроса само по себе является положительным фактором.*

нокопытных не оставлять!» Здесь слово «перегибы», обычно используемое для обозначения эксцессов при реализации программы коллективизации, означало как раз противоположное, то есть попытку оправдать тотальную конфискацию скота на том основании, что личные хозяйства «подрывают» скотоводческое хозяйство по всей стране. Руководители в Казахстане продолжали испытывать «головокружение от успехов» еще долгое время после статьи Сталина в «Правде» от 2 марта 1930 года. Именно здесь, в контексте истории международного голода, чувствуется особенность советской ситуации. Британские чиновники во время картофельного голода в Ирландии были готовы обвинить местных жителей (слишком большие семьи, лень, использование только одного вида посевной культуры) и продолжали разрешать экспорт зерна из-за приверженности принципам свободной торговли. Но в Казахстане советские управленцы радостно приветствовали сам процесс конфискации имущества. Подобные факты, наряду с географическими особенностями и определением роли Казахстана как региона сельскохозяйственного производства, могут помочь объяснить масштабы местной трагедии.

Строгость контроля распространялась не только на период насильственной коллективизации и объяснялась не только политической ситуацией. Как показывает статья Мариники Бабаназаровой, в Узбекистане репрессии против художников по идеологическим, эстетическим или личным мотивам (или по всем трем направлениям сразу) были особенно жесткими, что привело к полному исчезновению с культурной сцены таких талантливых и уникальных художников, как Василий (или Евгений) Лысенко и Александр Николаев (Усто Мумин).

В то же время удаленность от центра не только расширяла возможности администраторов, но и помогала в спасении произведений искусства. По утверждению Бабаназаровой, И.В. Савицкий смог создать в провинциальном узбекском городе Нукусе музей международного значения, прибегнув к осторожным уловкам, таким как регистрация произведений ленин-

градского неофициального художника Михаила Шемякина как картин «неизвестного художника». Таким образом, сохранение памяти может иногда потребовать создания пробелов. В случае с Василием Лысенко Савицкий сознательно упустил из списка существенных фактов имя художника, а также период его жизни в качестве политического заключенного. Безмолвие как цена выживания – именно так память становится «травматической». Эта точка зрения подробно изложена в статье Асель Кадырхановой о влиянии прошлого на туманно определенный «постсоветский» период. «Воздействие травмы теоретически бесконечно, и время не лечит». Термин «пост-память», используемый Марианной Хирш (для тех, кто унаследовал воспоминания о страшных исторических событиях, но не был их непосредственным свидетелем), предполагает, в свою очередь, использование термина «постпоколение» для тех, кого такая реакция связывает с семейной и, в более широком смысле, национальной трагедией.

Ситуация осложняется тем фактом, что, как указывает Кадырханова, Казахстан был местом, где были репрессированы не только переселенцы, но и местное население. По сей день в городе Алматы есть узнаваемый и хорошо сохранившийся жилой район, первоначально построенный для чиновников НКВД. И все же есть неосязаемые воспоминания, которые исчезают из памяти грядущих поколений. Выступая в 2017 году на заключительной сессии цикла лекций, на которой были представлены некоторые материалы из этой книги, я предположила, что сбор таких воспоминаний является жизненно важной задачей для понимания прошлого, и это включает в себя принятие его двусмысленности. Точно так же, как британские семьи (включая мою) должны смириться со свидетельствами о рабовладении несколько поколений назад, для семейной истории на постсоветском пространстве жизненно важно рассмотреть, как соучастие и страдания взаимосвязаны, а виновных и жертв трудно разделить. Взять, к примеру, Ораза Джандосова, который писал статьи, оправдывающие и поощряющие конфискацию

имущества, но который в то же время был соучредителем казахстанских университетов и первым директором Национальной библиотеки и который сам был расстрелян в судебном порядке во время Большого террора. Его участь является ярким примером того, «насколько запутанными (entangled) могут быть истории как внутри страны, так и за ее пределами».

Понимая вездесущность исторической боли и ее общую природу, мы можем избежать или смягчить разразившиеся недавно в некоторых частях Европы и Евразии «войны памяти», оправдывающие страдание во имя национальных целей¹. Мы также понимаем, как убедительно утверждает Михаил Акулов в своей статье, что не можем выделять лишь позитивные черты политических репрессий, а остальные отбросить. Такое отсеивание можно объяснить или невежеством, или самообманом, или даже отчаянием². В лекции 1989 года, которая позже появилась в виде основного эссе в сборнике 1990 года, Шеймас Хини говорил о «восстановлении поэзии». Ольстерский ирландец по происхождению, он стал свидетелем ужасов истории и вырос в удушающем противоречии мифов, представлявших национальную историю того времени³. И сегодня во всей Центральной Азии идет процесс восстановления культуры и истории силами художников, музейных работников и историков, которые борются как с «памятью строгого режима», так и с его последствиями⁴.

¹ См., например, *Rutten, E., Fedor, J., and Zvereva, V.V. Memory, Conflict, and Media: Web Wars in Post-Socialist States.* – Basingstoke, Palgrave, 2013 / *Julie Fedor et al. (eds.), War and Memory in Russia, Ukraine, and Belarus.* – Basingstoke: Palgrave, 2017.

² Подробнее об отчаянии см. *Oushakine, S. The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss.* – Princeton NJ: Princeton University Press, 2009.

³ *Heaney, S. The Redress of Poetry.* – Oxford: Clarendon Press, 1990.

⁴ Я взяла эту фразу из работы ведущего эксперта по политике памяти Николая Копосова, чья книга «Память строгого режима» (Москва: Новое литературное обозрение, 2011) прослеживает спорные отношения со сталинским прошлым в России в позднесоветский и постсоветский периоды.

Об авторе

Катриона Келли – профессор русского языка и литературы Оксфордского университета, член Британской академии наук, изучает русскую культуру, в частности русский модернизм и недавнюю историю Ленинграда/Санкт-Петербурга. Автор нескольких книг о русской культуре, среди которых «Товарищ Павлик: Взлет и падение советского мальчика-героя». Перевела на английский язык стихотворения Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Беллы Ахмадулиной, Елены Шварц и др.

Литература

Артизов А.Н., Сизачев Ю.В., Хлопов В.Г., Шевчук И.Н. Реабилитация: как это было. Март 1953 г. Февраль 1956 г. Документы. – Москва: Демократия, 2000.

Келли К. «Гости нашего города»: Мигранты в «самом европейском городе России» // пер. с англ. А. Горбуновой. – НЛО, 2014, № 3 (127) [Электронный ресурс] // <http://magazines.russ.ru/nlo/2014/3/32k.html>

Койгельдиев М.К. Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920–1940-х годов. – Алматы, 2009.

Копосов Н. Память строгого режима. – Москва: Новое литературное обозрение, 2011.

Пьянчола Н. Сталинская «иерархия потребления» и великий голод 1931–1933 гг. // *Ab Imperio*, no. 2, 2018, p. 80–116.

Стенографический отчет Ленинградского отдела Союза архитекторов СССР.

Заседание Архитектурно-технического совета совместно с Правлением Л.О. Союза Архитекторов СССР. 8 февраля 1963 г. // ЦГАНТД, ф. 386, оп. 1-6, д. 196, л. 6, л. 9.

Bridger, S. Women in the Soviet Countryside: Women's Roles in Rural Development in the Soviet Union. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Cameron, S. The Hungry Steppe: Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan. – Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018.

Fedor, J. et al. (eds.). War and Memory in Russia, Ukraine, and Belarus. – Basingstoke: Palgrave, 2017.

Grant, B. In the Soviet House of Culture: A Century of Perestroikas. – Princeton: Princeton University Press, 1995.

- Heaney, S.* The Redress of Poetry. – Oxford: Clarendon Press, 1990.
- Hirsch, F.* Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. – Ithaca: Cornell University Press, 2005.
- Humphrey, C.* Karl Marx Collective: Economy, Society, and Religion on a Soviet Collective Farm. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Kindler, R.* Stalins Nomaden: Herrschaft und Hunger in Kasachstan. – Hamburg: Hamburger Edition, 2014.
- Martin, T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. – Ithaca: Cornell University Press, 2001.
- Michaels, P.A.* Curative Powers: Medicine and Empire in Stalin's Central Asia. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2003.
- Ó Gráda, C.* Famine: A Short History. – Princeton: Princeton University Press, 2009.
- Ohayon, I.* La sédentarisation des Kazakhs dans l'URSS de Staline, Collectivisation et changement sociale (1928–1945). – Paris: CNRS, 2006.
- Oushakine, S.* The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss. – Princeton NJ: Princeton University Press, 2009.
- Pianciola, N.* Ukraine and Kazakhstan: Comparing the Famines // Contemporary European History, vol. 27, no. 3, 2018, p. 440–444.
- Pianciola, N.* Stalinismo de frontiera: Colonnizzazione agricola, sterminio di nomadi i costruzione sociale in Asia centrale, 1905–1936. – Roma: Viella, 2009.
- Rutten, E., Fedor, J., and Zvereva V.V.* Memory, Conflict, and Media: Web Wars in Post-Socialist States. – Basingstoke, Palgrave, 2013.
- Suny, R.* The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. – Stanford CA: Stanford University Press, 1993.

Раздел I

ИСТОРИЯ

В статьях, помещенных в первом разделе данной книги, прослеживаются некоторые конкретно-исторические проекции репрессивной политики сталинского режима в Казахстане. В них рассматриваются примеры практики ее осуществления как в отношении массовых слоев населения (крестьянства), так и отдельных его категорий (представителей национальной интеллигенции).

Предваряется раздел материалом общеметодологического характера, в котором предпринимается попытка раскрыть логику массового террора, являвшегося следствием не столько неких субъективных обстоятельств и личностной преступной воли, персонифицированной Сталиным, сколько фатальным порождением именно сущностной природы тоталитарного режима. Представляется, что такая вводная статья в данном сборнике весьма целесообразна, поскольку еще достаточно значительная часть общества продолжает питать иллюзии по поводу возможности развития истории советского общества по совершенно иной траектории, если бы в свое время у его руля оказался не Сталин, а Ленин или, по крайней мере, «большевики – истинные ленинцы».

В статье М. Акулова в контексте диалектической логики единства противоположностей рассматривается вопрос о соотношенности двух тоталитарных режимов: нацизма и сталинизма. Как известно, анализ параллелей, симметричностей и тождеств этих двух демонических феноменов имеет давнюю

и богатую историографическую традицию. В рамках ее исследовано множество аспектов, выявляющих как внешнюю, так и глубинно сущностную схожесть Третьего Рейха и сталинского СССР.

В данной статье тема их «родственности» усматривается во взаимосвязи Утопии и террора, а если конкретно, то в том, что массовый террор, осуществлявшийся этими режимами, являлся одной из практик реализации их Утопий. В нацистской Германии в качестве утопического фантома выступала идеологема «Тысячелетнего Рейха» с его почти мировым «лебенсраумом», т. е. «жизненным пространством» для расовых арийцев – немцев, в СССР – «светлого коммунистического будущего».

Автор показывает корреляцию «Утопия – Террор» на концептуальном уровне, но вместе с тем и в конкретно-исторической фактологической канве. Он раскрывает скрытые тогда от массового общественного сознания граждан нацистской Германии и сталинского СССР действительные, а не камуфлированные пропагандистско-идеологическими декларациями смыслы и целеполагания террора, которыми руководствовались эти тоталитарные режимы.

Вдумчивый читатель, безусловно, заметит, что главным рефреном статьи М. Акулова является мысль о том, что социальные утопии, обретая статус официальной государственной доктрины, высшей истины государства, его абсолютного идеала, в процессе своих практических реализаций неизбежно оборачиваются, помимо всего прочего, и массовым террором. И причинно-следственная связь здесь, как показывает автор, непосредственная, поскольку Утопия становится сакральной идеей государства, и постольку узурпировавший его режим начинает разворачивать тотальный контроль за всеми нишами общественного бытия. Целью такого всеобъемлющего надзора является преследование и искоренение всех инакомыслящих, причем не только реальных, но и, по мнению режима, потенциальных и даже мнимых, т. е. оказавшихся таковыми

либо по лживым корыстным доносам, либо по предположениям, аргументированным «классовым чутьем» или «расовым инстинктом». При этом борьба с угрозами Утопии (в значительной степени воображаемыми или сконструированными идеологической пропагандой) может переноситься на целые сообщества – «государства с гнилыми либеральными демократиями», социальные классы, группы и слои, религиозные конфессии, этничности и т. п. Такова цена фанатично-массовой веры в Утопию, такова ее логическая и при этом, добавим, трагическая развязка.

Как известно, в последний период своего «вождизма» Сталин уже откровенно, т. е. не утруждая себя изощрениями идеологической казуистики и отбросив пропагандистский камуфляж, обнажил национал-большевистское кредо своего режима. Становились очевидными его идеологические (а следовательно, и практические) ориентации на государственный этноцентризм, вульгарный национал-патриотизм и неприкрытый антисемитизм.

Понятно, что «новые» идеологически-пропагандистские клише значительно расширили инструментальное поле для развертывания очередных репрессий. Наряду со старыми, проверенными, ставшими уже привычными для «общественного уха» страшилками («враг народа», «классовый враг», «социально чуждый элемент», «троцкист», «шпион», «вредитель» и т. п.) были задействованы (например, по отношению к деятелям культуры и науки Казахстана) обвинения в «идеализации феодально-родового строя, возвеличивании ханов и баев, затушевывании классовой борьбы в дореволюционном казахском ауле, протаскивании буржуазно-националистических и антирусских взглядов», а также «сокрытии байского происхождения», «прошлых симпатиях и связях с алашевцами» и т. д.

В статье З. Сактагановой на основе малоизученных и еще не публиковавшихся архивных документов рассматриваются именно эти сюжеты, в которых с помощью подобных обви-

нительных стигматов раскручивались политические преследования казахстанских ученых, причем из элиты. При этом автор особо обращает внимание на то, что инициировались эти репрессивные по своей сути кампании из своей же научной среды. Проще говоря, с подачи добровольных доносчиков – политических конъюнктурщиков и серых посредственностей, заложников «черной зависти», стремившихся заодно выторговать у режима охранительные грамоты ценой предательства Иуды. Автор статьи прямо называет их имена, и это, наверное, правильно, общественность должна знать не только героев, но и антигероев тех лет, это тоже уроки истории.

Именно эти люди, движимые своим, ничем не подкрепленным, кроме зависти, болезненным тщеславием, неустанно строчили свои злобные пасквилы в Москву, в ЦК ВКП(б), провоцируя кампании политических преследований в республике. Они нацеливали и корректировали «идеологический огонь» по таким крупным ученым, как академики А. Жубанов, С. Кенесбаев, А. Бектуров, И. Галузо, А. Маргулан, другим видным ученым, они своими доносами подготовили так называемое «Дело Бекмаханова» и т. д.

Поскольку Президентом Академии наук республики, бесспорным и авторитетным лидером научного сообщества Казахстана являлся в то время действительный член АН СССР Каныш Имантаевич Сатпаев, то понятно, что все обвинения ученых, его научных сподвижников, фокусировались на его личности (в итоге лживые клеветники и доносчики добились своего, К.И. Сатпаев, как неудобный режиму, был снят с должности Президента АН КазССР). Поэтому в статье З. Сактагановой речь идет, главным образом, о гонениях на К.И. Сатпаева, о том, как он мужественно противостоял прессу давящей машины режима.

В статье Ж.Б. Абылхожина прослеживается череда социально-экономических и политических акций государства в ауле и деревне Казахстана. Все они так или иначе были до предела насыщены смыслами антикрестьянского террора.

Вместе с тем автор показывает, что под ярко-кричащей облаткой воинственной «социально-классовой» идеологической казуистики сталинского режима явственно проступали его утилитарно-прагматические целеполагания. А именно: ликвидация самой массовой потенциальной оппозиции власти в лице крестьянства посредством превращения его в «безропотный класс» огосударствленных поденщиков (коллективизация и раскулачивание), а вместе с этим и обретение удобных и бесконфликтных для режима способов безвозмездного изъятия продукта крестьянского труда и перекачки его на цели форсированной индустриализации (колхозы).

Жулдузбек АБЫЛХОЖИН

Михаил Акулов

**Государство ограниченного благоденствия:
Об утопии и терроре в Третьем Рейхе
и Советском Союзе**

...во время революции орудием (народного правления) является и добродетель, и террор одновременно: добродетель, без которой террор гибелен, террор, без которого добродетель бес- сильна...

Максимилиан Робеспьер

Исходя из собственной динамичной логики, диалекти- ческое мышление приходит к единству противополож- ностей. В XX веке наиболее наглядной иллюстрацией этого правила стали взаимоотношения национал-социалистической Германии и сталинского Советского Союза, взаимоотноше- ния, трагическим образом сказавшиеся на судьбах десятков миллионов людей и определившие характер и содержание времени. Эти два режима, прижизненно получивших статус «тоталитарных» (в отличие от итальянского фашизма – поми- мо своей воли, конечно), являлись заклятыми врагами не толь- ко на словах; их противостояние не могло не превратиться в схватку не на жизнь, а на смерть, так как именно в уничтоже- нии противника большевики Сталина и гитлеровские нацисты усматривали наиболее осязаемую, конкретную цель тех текто- нических сдвигов, что скрывались под революционными ло- зунгами. Можно пойти и дальше: и для СССР, и, в особенности, для Германии враг олицетворял ту крайнюю границу истории, преодоление которой сулило выход в обещанное внеисторичес- кое пространство Утопии.

Наделяющая смыслом само существование Третьего Рейха и СССР Утопия должна стать отправной точкой в процессе постижения глубинного родства этих режимов. Нет сомнения в том, что предлагаемые нацистами и большевиками версии Утопии сильно отличались друг от друга, являя в ряде пунктов примеры диаметральной противоположности. Однако внешние различия едва могли скрыть консенсус, достигнутый режимами относительно ключевой роли, которую предстояло сыграть террору как практике – или же «как приему»¹ – в деле реализации утопических видений. Загадка, равно как и «загадочность», тоталитарного террора заключалась именно в том, что он не вписывался ни в рамки борьбы с инакомыслием, ни в систему предупреждения появления несогласных посредством перманентного страха. Практикуемое сталинизмом и нацизмом насилие предоставляло целый комплект инструментов в проводимой режимами социальной инженерии – от стерилизации «расово неполноценных» и высылки «соцвредного элемента» из столичных городов до депортаций, ГУЛАГа и лагерей смерти. Террор поэтому был оборотной стороной Утопии, теоретически находившийся в подчиненном ее внутренней механике положении. На практике же, учитывая над-рациональный, квазирелигиозный характер Утопии, террор и был Утопией в самом ее «опытном», «прожитом» и «обживаемом» виде. Террор – ее душа и ее тело, пусть и обложенные поролоном многозначительных слов и высоких призывов. Кроме того, нет повода для того, чтобы в инструментализации террора видеть лишь злую волю Сталина или Гитлера, некое смертоносное «побочное явление» истории, приведшее к полному искажению оригинальной идеи. Скорее, выкраивая реальное по лекалам идеального, террор одновременно раскрывал суть тоталитарной Утопии, как вышедшую из-под контроля и стремящуюся к иррациональности рационализацию жизни.

¹ *Holquist, P. State Violence as Technique: The Logic of Violence in Soviet Totalitarianism // Stalinism: The Essential Readings / ed. David L. Hoffmann. – Malden, MA: Blackwell Publishers, 2003, p. 129–158.*

По своему определению Утопия есть преодоление истории, не столько место за гранью изведенного, сколько время за порядковой шкалой событий. Справедливости ради надо заметить, что нацисты и большевики находились в разном по отношению к истории положении. Национал-социалисты, будучи куда в большей, нежели большевики, степени срезом всего немецкого общества, не могли уже доверять истории, не говоря уже о том, чтобы верить в нее¹. В совсем недавнем прошлом это вера уже привела Германию к катастрофической по своим последствиям Первой мировой войне: не победой германского духа, поддерживаемого передовой наукой, динамично развивающейся экономикой, техническими и культурными свершениями, а утратой Германией главных атрибутов имперского присутствия закончилась для страны эта попытка преодоления эпохи «затянувшейся» гегемонии франко-англо-саксонской цивилизации². Соседи, казавшиеся уставшими от многолетнего бремени исторической ответственности, оказались способными к яростному сопротивлению, а главное, к самопожертвованию – черте молодых, верящих в будущее народов. Хуже всего было то, что после войны признаки дряхления угадывались немцами в самой Германии. Именно в таком, алармистском ключе интерпретировались немецкими демографами и врачами сводки о резком падении рождаемости, росте венерических заболеваний и общем нравственном разложении Веймарского общества³. Добавляя апокалиптических красок, узкопрофиль-

¹ *Fritzsche, P. and Hellbeck, J.* The New Mann in Stalinist Russia and Nazi Germany // *Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared* / ed. Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009, p. 313.

² Об утраченных «атрибутах» имперскости см. *Jones, H.* The German Empire // *Empires at War, 1911–1913* / ed. Robert Gerwarth and Erez Manela. – Oxford, UK: Oxford University Press, 2014.

³ *Hoffmann, D.L. and Timm, A.F.* Utopian Biopolitics: Reproductive Policies, Gender Roles, and Sexuality in Nazi Germany and the Soviet Union // *Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared* / ed. Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009, p. 92.

ным специалистам вторили интеллектуалы – «обобщители» широко представленных, хоть и неясных настроений. Главный среди них, Освальд Шпенглер, уподобившись Тациту, открыто заявлял о «Закате Европы», подразумевая в первую очередь Германию и немцев, утративших добродетели предков и превратившихся в равнодушных, гедонистических и одновременно бесплодных жителей глобального метрополиса.

Пессимистические прогнозы и отсутствие веры в историю стали почвой, на которой и произросла нацистская альтернатива. Вдохновленная Дарвином и Ницше – вернее, вульгаризированными версиями их идей – нацистская Утопия уже в том являлась выходом из Истории, что саму Историю с ее концептуальным аппаратом подменяла Природой. Место Свободы освобождалось для Необходимости, общечеловеческая судьба оказывалась не у дел ввиду непрекращающейся борьбы групп за существование (и доминирование), само Человечество, как этическая категория, вытеснялось квази-биологическими понятиями из линнеевской таксономии. В центре процесса возведения Утопии находилась забота о бессмертном теле расовой общины (*Volksgemeinschaft*)¹. Его необходимо было «омолодить», «оздоровить», «усилить», изъяв «вредные элементы» и повысив действенность «расово полезных элементов». Правильно подобранными мерами национал-социалисты должны были подготовить *фольк* к неизбежному столкновению со всеми враждебными ему силами – в потенциале, со всеми силами, лежащими по другую сторону его биологических границ. Столкновение это, как центральный компонент построения нового мира, мыслилось двухактно: «расовой общине» возобновленного Рейха предстояло сначала пережить блокаду, что по интенсивности обещала затмить худшие месяцы британской политики измора в Первой мировой войне, а затем вы-

¹ Peukert, D. The Genesis of the 'Final Solution' from the Spirit of Science // Nazism and German Society, 1933–1945 / ed. Crew D.F. – London, New York: Routledge, 1994, p. 284.

рваться из кольца, освободив «жизненное пространство» для жизни в вечном (во всяком случае, по меркам истории) природно-расовом цикле производства и воспроизводства.

С глубиной пессимизма нацистов мог сравниться только тот безграничный кредит доверия, который был свободно выдан истории партией большевиков. Конечно, в своем оптимистическом отношении к истории большевики исходили из самой марксистской телеологии, гарантирующей адептам неотвратимый приход коммунизма и победу всемирной пролетарской революции. Перевороты, выпавшие на 1917 год, подтверждали верность предсказаний, косвенным образом реабилитируя прозванную «империалистической» мировую войну; о комплексах проигравшей стороны, поразивших германское общество, в новообразованном Советском Союзе не было речи. Более того, оставаясь по сути организацией конспиративной, «элитарной»/«авангардной», свободной от необходимости отстаивать свое право на власть, большевистская партия могла без стеснения трактовать наступившую с Гражданской войной небывалую экономическую разруху и общественную архаизацию в положительном для себя свете: освобождая пространство для будущих гигантских строек от остатков старого мира, война одновременно ломала общепринятые границы нравственно допустимого. Большевистская версии Утопии заключала в себе парадокс: являясь прямым следствием движения масс по главной магистрали Истории, она должна была быть ни на что не похожим, беспрецедентным экспериментом. Беспрецедентными – т. е. не отягощенными представлениями о возможном (будь то с моральной или физической точки зрения) – должны были быть и средства по воздвижению утопического порядка.

Бесспорно, неверным будет ограничивать различия в восприятии нацистов и большевиков пост-исторической Утопии лишь их отношением к самой истории. Расовая община, предоставляя механизмы по преодолению классовых и сословных делений, оставалась проектом, доступным только для немцев – и то далеко не для всех. Основные положения нацист-

ской Утопии – постулаты не только об уникальности и превосходстве немцев, но и об их естественном (т. е. обусловленном природой) призвании быть господствующей расой – делали универсализацию идеи невозможной¹. С другой же стороны, несмотря на продвигаемый Сталиным и сталинистами тезис о необходимости строительства социализма «в отдельно взятой стране», советская модель создавалась «с прицелом» на дальнейший экспорт. Схожим образом складывались и представления о «новом человеке», которому предстояло жить в выстраиваемых СССР и Третьим Рейхом Утопиях. Хотя в планах нацистов, как и сталинистов, «новый человек» одинаково решительно отбрасывал «либерально-буржуазные» идеалы, в Советском Союзе конечный продукт превозносился как эталон для всего остального мира – т. е. как конкретизация истинного, социалистического гуманизма. Человек же «Нового порядка», устанавливаемого нацистами в Германии и за ее пределами, более всего напоминал конкистадора, беззаветно преданного делу германской колонизации и обороны границ колониальной Германской империи. Невзирая на общее для обоих режимов преклонение перед мускулистыми мужскими и подчеркнuto чувственными женскими телами, требования к «душам» они выдвигали разные: в то время, как советский «универсализм» обуславливал необходимость проведения постоянной «работы над собой», перед немцами ставилась задача установления «пределов состраданию», чтобы последнее не мешало быть твердым в следовании расовому императиву².

¹ В этой связи интересным – и весьма показательным – является факт отсутствия национал-социалистов на международной конференции фашистов в Монтре в 1934 году. Организаторы, Муссолини в первую очередь, считали, что расизм нацистов исключает возможность привлечения последних в «фашистский интернационал» (см. *Payne, S. A History of Fascism, 1914–1945.* – Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1995, p. 232).

² *Fritzsche, P. Life and Death in the Third Reich.* – Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2008, p. 89–96.

Таким образом, различия в видении Утопии нацистов и большевиков обуславливались разнящимся отношением к истории и, в частности, к модерну как к ее кульминационной фазе. Тем не менее эти различия касались лишь деталей; в корне же своим предлагаемые и продвигаемые режимами утопические программы руководствовались единой целью – а именно, целью создания определенного типа «социального государства» (welfare state). Преодолевая извечный конфликт между ведомыми массами («обществом») и ведущим их политическим классом, социальное государство в идеале брало на себя курирование главных общественных вопросов – от инициирования общественной дискуссии до окончательного их разрешения. Первостепенным среди этих вопросов являлся вопрос рационального обеспечения основными благами широких масс населения; учитывая ограниченность наличных ресурсов, оборотной стороной обеспечения был вопрос доступа, т. е. составления и поддержки принципа «очередности» в потреблении этих ресурсов. Необходимо было определить: кто и под каким номером имеет право стоять за своей порцией «общественного блага», равно как и кого в очередь нельзя было допускать ни под каким предлогом.

Здесь необходимо сделать несколько важных замечаний. Во-первых, хотя сама идея социального государства не была изобретением ни нацистов, ни большевиков, на момент прихода к власти первых и тем более захвата власти вторыми она еще сохраняла в себе притягательную силу нововведения. В случае с Советским Союзом закладка фундамента для всеохватывающей социальной политики действительно была беспрецедентной. В Германии самопровозглашенным социальным государством являлась предшествовавшая нацистам Веймарская республика; ее проблема однако состояла в нехватке финансовых средств, что, ограничив возможности правительства в реализации социальной программы, дополнило и без того длинный список претензий к республиканскому строю, при этом не скомпрометировав саму идею. Во-вторых, переход от проектирования социального государства к его осуществлению стал возможным

как благодаря развитию технических средств, используемых государством в сфере мобилизации демографических ресурсов, так и росту значения общественных наук в описании общества как единой объективной реальности. Сложно сказать, что предшествовало чему: то ли возросшая общественная роль государства питала научные изыскания, то ли неоспоримые успехи науки создавали вокруг государства и предпринимаемых им мер дополнительный ореол легитимности. Ясно то, что со второй половины XIX века социальная политика и общественные науки находились во все более тесной взаимосвязи, оказывая друг на друга глубокое влияние. И наконец, в-третьих, несмотря на наукообразность языка социальной политики, до Первой мировой войны говорить об общепризнанных, разработанных с достаточной тщательностью задачах социального государства было сложно; сложно было говорить и о средствах, наиболее уместных в их разрешении – еще не сломлен был викторианский либерализм и сильна была общественная антипатия к социалистическим, если не социальным, программам.

В результате большевики и нацисты пользовались определенной свободой в формировании целей своей социальной Утопии и в поиске средств по ее достижению. С другой стороны, общество, с которым им предстояло работать, уже находилось в «сетке» общественных наук. С точки зрения государственных служащих (как и «общественных деятелей») оно состояло не столько из индивидуумов, сколько из общественных категорий, каждая – со своей спецификой и своими границами. В отличие, однако, от автономных средневековых цехов и сословий, их существование не мыслилось отдельно от единого социального целого, как не мыслится существование органа или члена вне тела, частью которого они являются. Это позволяло воспринимать семантическую связь «общество-тело» уже не в виде обычной метафоры, но как отражение объективного состояния человеческого коллектива¹. Следовательно, и подходы к обществу должны были

¹ Peukert, p. 293; Holquist, p. 135.

исходить из его «телесности», т. е. быть по своему характеру как терапевтическими, так и профилактическими.

Тело как парадигма восприятия общества позволяет лучше понять «эстетическую» составляющую Утопий. Общество, коему предстояло жить в социальном государстве и пользоваться его благами, после ряда вмешательств и мер представлялось подобным античной статуе, однородным по составу и пропорциональным в своих формах. В нацистской Германии эстетический идеал открыто провозглашался расистской идеологией, являясь, по существу, одним из лейтмотивов общественного переустройства. Категории, порожденные еще до прихода нацистов, объявлялись расово ценными или расово неполноценными (*minderwertige*) во многом в зависимости от их вклада в стилизацию действительности на национал-социалистический манер. Неоспоримо «арийские» характеристики – т. е. соответствующие не только генеалогическим критериям, но и куда более осязаемым требованиям к форме – должны были «излучать» лица, тела, улицы и даже природные ландшафты Германии. В подтверждение своих эстетических представлений нацисты создали категорию вне категории – т. н. «асоциальных», своеобразных немецких «неприкасаемых», свалив туда всех тех, кто представлялся им носителем «уродства» (как физического, так и нравственного): попрошайки, бродяги, бездомных, «психопатов», алкоголиков, проституток, сутенеров, «сексуальных извращенцев» и прочих.¹ Абсолютная биологическая угроза, якобы исходящая от евреев, обосновывалась нацистской пропагандой в том числе и «на глаз»: немцев, проходящих практику «расового мышления», учили признавать не менее абсолютную «анти-эстетику» еврейского «типа», тем более пагубную, что она легко могла показаться привлекательной². С другой стороны, эсте-

¹ Gerlach, C. and Werth, N. State Violence-Violent Societies // Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared / ed. Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009, p. 143.

² Hellbeck and Fritzsche, p. 329.

тика, в обход биологии, могла закрепить за некоторыми представителями неполноценных рас право дальнейшего – «полноценного» – участия в расовой общине (*Volksgemeinschaft*): так, тысячи польских детей, признанных вполне «арийскими» по своей внешности, были в буквальном смысле похищены у своих родителей и переданы немецким семьям на воспитание¹.

Пусть и не так явно сталинская Утопия также не была равнодушна к аргументам эстетического характера. Тем не менее, если в нацистской эстетике преобладали представления о форме и пропорциях, то в Советском Союзе присутствие эстетического идеала выразило себя в симметрии и однородности². Это касалось, в первую очередь, города и городского пространства как основного места строительства социализма. План и норма стали мерами красоты; хаос и отклонение от нормы превратились в синонимы безобразия. Генеральный план реконструкции Москвы, призванный дать столице характер правильно функционирующего механизма (и избавить ее от следов бессистемного прошлого), – наглядная тому иллюстрация³; не менее наглядной (хоть и не афишируемой) иллюстрацией являются проводимые в больших городах облавы и зачистки т. н. «соцвредного» элемента – лишенцев, раскулаченных, особ, «не задействованных в социально полезной работе», ранее судимых и членов их семей⁴. Эстетические соображения прочитываются и в ключевом решении о введении паспортной системы в 1932 году. Паспорта, безусловно, служили инструментом контроля над массовыми перемещениями, вызванными потрясениями индустриализации; первостепенным являлось и желание оградить города от наплыва спасающихся от голода крестьян. Вид

¹ Hoffmann and Timm, p. 109–110.

² Holquist, p. 136.

³ О связи утопии, террора и реконструкции Москвы, см. *Schlögel, K. Terror und Traum: Moskau 1937. – Nördlingen, Germany: Fischer Taschenbuch Verlag, 2011.* В русском переводе Шлегель К. Террор и Мечта. Москва, 1937 / пер. В. Брун-Цеховой. – Москва: РОССПЭН, 2011.

⁴ Gerlach and Werth, p. 139.

изможденных, зачастую доведенных до безумия людей не должен был напоминать о катастрофических провалах сталинской «революции сверху», оскверняя мизансцены «великих строек».

Вальтер Беньямин утверждал, что в эру массовой воспроизводимости произведения искусства фашизм проводит эстетизацию политики, а коммунизм «отвечает на это политизацией искусства»¹. В конечном итоге разница между целью и средством оказалась не такой большой: политика и эстетика тесно сплетались в утопических планах тоталитарных режимов, произведя на свет нечто третье, не вписывающееся в бинарный анализ Беньямина. Это заметно хотя бы в том, что любая из групп, преследуемая по соображениям сугубо «политическим» (отсутствие должной благонадежности, скажем), подвергалась одновременно процессу «деэстетизации» – а именно, обезчеловечиванию и демонизации. Стоит сравнить нацистские антисемитские плакаты или иллюстрированные прокламации против «расово неполноценных» (*minderwertige*) с изображением кулаков в сталинском Советском Союзе, чтобы понять значение образа в мобилизации населения. С этих плакатов на людей глядели уже не люди, а нелюди, монстры, человекообразные пауки, кошмары, сошедшие со страниц гротескных фантазий, к которым ничего, кроме отвращения, невозможно было испытывать. Подобно расистскому мировоззрению классовое восприятие действительности оказалось на редкость эффективным средством по наделению «другого» осязаемыми и одновременно отталкивающими характеристиками².

Большевики и нацисты, проводя, как медики, операции над общественным телом, воздействовали на каждую из его отдельных частиц, в первую очередь, посредством представленных в нем «категорий населения». В этих действиях, наряду с позитивной политикой предоставления льгот определенным

¹ Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / пер. С.А. Ромашко. – Москва: Медуим, 1996. С. 65.

² Holquist, p. 152.

группам, проводилась политика, направленная на политическую нейтрализацию, правовую изоляцию, а в дальнейшем и на физическое истребление других групп. Такая политика и стала обоснованием для использования террора в качестве основного «хирургического» инструмента в осуществлении амбициозных общественных проектов обоих режимов.

Со времен якобинцев к политическому террору регулярно прибегали как революционеры – под предлогом защиты интересов Революции, так и поборники реакции, жаждущие возмездия за учиненные первыми «бесчинства». Все же в течение XIX века арсенал орудий насилия, применяемых к гражданскому населению, оставался скудным; кроме того, террор – будь он революционный или «белый», контрреволюционный – ограничивался узкими временными рамками, вплоть до установления революционной власти или восстановления спокойствия в стране. Первая мировая война и последовавшая за ней гражданская война в России (захлестнувшая, как известно, области Восточной и Центральной Европы)¹ дали новый, мощный толчок развитию террора. Теперь в список террористических практик – наряду с «традиционными» расстрелами и ссылками – прочно вошли публичные кампании по очернению целых слоев населения (направленная против галицийских украинцев «шпиономания» в Австро-Венгрии)², массовые депортации представителей «неблагонадежных» этнических общин с окраин в глубь страны (высылка евреев и немцев в Российской

¹ Что дает повод современным историкам говорить уже о все-Европейской гражданской войне. См. *Mazower, M. Dark Continent: Europe's Twentieth Century.* – New York: Vintage Books, 1998, p. 10–13; вступление к *Gerwarth, R. and Horne, J. ed. War in Peace: Paramilitary Violence in Europe after the Great War.* – Oxford, UK: Oxford University Press, 2012.

² Шпиономания сопровождалась репрессиями против гражданского населения; порядка 30 тыс. жителей Галиции и такое же число сербов были приговорены к смерти австрийскими властями в течение первых месяцев войны по подозрению в шпионаже в пользу России. См. *Leonhard, J. Die Büchse der Pandora.* – München, Germany: Verlag C.H. Beck, 2014, p. 187.

империи в 1915 году), наконец, частичное или тотальное физическое уничтожение целых народов под предлогом их усмирения и борьбы с внешним врагом (действия царских войск в Семиречье в 1916 году; Армянский геноцид в Османской империи). Вместе с ними изменилась и качественная природа Террора; Террор перенес войну глубоко в тыл, создав тем самым условия для принятия, осуществления и конечной нормализации радикальных общественных мер. Операции по искоренению т. н. «бандитского» элемента на Украине и в Тамбовской губернии, этнические чистки на Кавказе, еврейские погромы, проводимая на Дону и Кубани политика расказачивания продемонстрировали крепнущую связь между террором и социальной трансформацией¹. Новшество такого, «профилактического», террора, заключалось в том, что его жертвами были не отдельные лица, заподозренные во враждебном отношении к одной из враждующих сторон, а целые группы, повинные, условно говоря, в факте собственного существования: приписываемые им характеристики автоматически превращали их во вредоносные, инородные тела. Важно также заметить, что во время гражданской войны в России «профилактический» террор быстро вошел в обиход всех враждующих сторон; большевиков от их противников – белых или махновцев – отличали «лишь» системность и масштабность, но ни в коем случае (как это принято считать) качественно иное применение государственного насилия.

Террор гражданской войны стал предтечей задействованного в строительстве нового мира террора межвоенного периода. Сам факт использования террора в относительно мирное время не должен удивлять. Без сомнения, военная угроза государству

¹ См. *Schnell, F. Räume des Schreckens: Gewalt und Gruppenmilitanz in der Ukraine, 1905–1933.* – Hamburg, Germany: Hamburger Edition Institut für Sozialforschung, 2012; *Baberowski, J. Der Feind ist Überall Stalinismus im Kaukasus.* – München, Germany: Deutsche Verlags-Anstalt, 2004; *Holquist, P. Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921.* – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.

извне или изнутри послужили в 1914, а затем в 1918 году основанием для террористических методов воздействия на население. Однако за время начавшегося в августе 1914 года кризиса террор «успел» кристаллизироваться в целые бюрократии и институты – в первую очередь, в виде ВЧК, а затем ОГПУ в СССР. Таким образом, террор стал независимой от чрезвычайных положений войны практикой. Точнее, изменившись – созрев в часе войны, террор изменил саму войну. Теперь уже спокойствие на границах или же отсутствие открытых внутренних вооруженных противников режима не могли считаться симптомами пришествия мира. Война стала перманентным, пусть и латентным условием существования тоталитаризма, наполнив каждый кубометр общественного (и личного) пространства алармистским духом, напряженным ожиданием, маниакальной подозрительностью. Террор, следуя своеобразной, замкнутой на себе логике, был одновременно причиной и следствием войны без начала и конца; в этом заключалась одна из его функций. Экстраординарные утопические проекты требовали экстраординарной, не вписывающейся в юридические и моральные нормы ситуации: война подходила под это лучше, чем что-либо иное.

Нет необходимости досконально пересказывать историю радикализации нацистского режима или движения Советского Союза к кровавым пароксизмам конца 30-х годов. Следует еще раз подчеркнуть, что в атмосфере ожидаемой войны, мирового экономического кризиса и автаркии нацисты и большевики – планировщики и строители социальных утопий – все чаще обращались к негативной селекции. Нацисты начали с самой массовой в новейшей истории кампании по стерилизации немцев, оказавшихся «генетически непригодными» для будущего расового рая; за стерилизацией последовала насильственная эвтаназия пациентов госпиталей; эвтаназия же, продемонстрировав, по утверждению историка Питера Фритцше, пределы требуемым нацистами «пределам сострадания», стала важной

вехой на пути к «Окончательному решению»¹. В сталинском государстве «изъятие» (а именно этот термин использовался в секретных циркулярах и сводках) «враждебного» элемента из общественного тела происходило с использованием массовых депортаций, арестов, расстрелов и, конечно же, голода.

Абсолютным врагом расовой Утопии национал-социалисты считали евреев; в Советском Союзе роль главных демонов выпала т. н. «кулачеству». Неудивительно поэтому, что их судьбы – судьбы отдельных людей и целых социальных категорий, пропущенных через террористический аппарат государства, во многом схожи. И те, и другие были сначала лишены гражданских прав, превратившись в беззащитных изгоев. С 1930 по 1932 гг. вслед за сталинским требованием «ликвидации кулака как класса» около 1,8 миллионов крестьян были высланы в «кулацкую ссылку». В 1932 году на «спецпоселениях» числилось лишь 1,3 миллион человек – остальные либо умерли, либо бежали². Массовые депортации евреев с территорий, контролируемых Третьим Рейхом, начались со вторжения в Польшу в 1939 году; специально для этого на месте центральной Польши и западной Украины было создано Генерал-губернаторство, превратившееся в огромное гетто для европейского еврейства. В 1937 году с выходом Приказа № 00447 сталинский НКВД перешел к фазе активного физического уничтожения «бывших кулаков». Изначально запрашиваемая квота в 85 000 расстрелов была к концу 1938 года перевыполнена в четыре раза, что составляло более половины всех приведенных к исполнению смертных приговоров за 1937–1938 гг.³ Переход от депортаций к истреблению евреев приблизительно соответствовал началу Советско-Германской войны в 1941 году. Жертвами Холокоста стали 5,5 миллионов человек.

¹ *Fritzsche*, *Life and Death in the Third Reich*, p. 118.

² *Lewin, M.* *The Soviet Century* / ed. Gregory Elliot. – New York: Verso, 2005, p. 125.

³ *Gerlach and Werth*, p. 142.

Можно указать и на другие параллели. Как уже было замечено, границы расовой общины как основного бенефициара нацистских программ определялись в соответствии с эстетическими и биологическими параметрами. Этим, конечно же, обусловлено значение этнического террора – т. е. насилия, направленного против групп, стоящих на низших ступенях нацистской расовой эстетическо-биологической иерархии. Удивительным было то, что и в Советском Союзе, государстве «победившего» интернационала, этническое насилие было краеугольным. Одного и того же врага, как оказалось, можно было отметить как классовыми, так и национальными маркерами. Именно это и наблюдалось в ходе проведения массовых «национальных» операций НКВД в 1937–1938 годах – против поляков (более 80 тысяч расстрелянных), немцев (около 40 тысяч расстрелянных), латышей (около 17 тысяч расстрелянных), финнов. Сопоставимыми по своему размаху с нацистскими были советские депортации народов, обвиненных в сотрудничестве с внешним врагом. За период с 1937 по 1944 гг. было сослано по «национальной линии» около 3 миллионов человек – из них 900 тысяч немцев и полмиллиона чеченцев и ингушей¹. При этом, в особенности в случае с последними, методы, использованные в организации переселения, и условия, в которых оказались сосланные, позволяют нам говорить о полномасштабном геноциде².

Безусловно, различия в террористических практиках нацистов и коммунистов были существенными, и их нельзя упускать из виду в понимании природы режимов и их утопических проектов. Нацистское насилие стояло ближе сталинского к идеальному типу террора, хирургически применяемого к коллективному телу с целью создания совершенной расовой общины;

¹ *Baberowski, J. and Doering-Manteuffel, A. The Quest for Order and the Pursuit of Terror: National Socialist Germany and the Stalinist Soviet Union as Multiethnic Empires // Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared / ed. Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009, p. 223.*

² *Gerlach and Werth, p. 160; Baberowski and Doering-Manteuffel, p. 224.*

за исключением последнего года войны преследованиям подвергались группы людей, исключенные из расовой общины. Другими словами, нацистский террор был «безличным» и «безымянным», что отчасти объясняет, почему многие из нацистских зачинщиков массовых убийств признавались вслед за Эйхманом, что не испытывали особой ненависти к тем же евреям. В отличие от нацистов, большевики практиковали политику террора, соединяющую в себе индивидуальное насилие, направленное против конкретных личностей, у которых, как и у ошибок, были имя и фамилия, и насилие групповое – против представителей отдельных социальных категорий. В стране могли одновременно проходить суды показательные и тайные, т. е. не предаваемые огласке массовые операции против кулаков, социально-вредных элементов, «шпионов» всевозможных контрразведок и т. д.

Подобное сосуществование террора индивидуального и террора группового – комбинация публичности и тайны – требует объяснения. Долгое время историки, поддавшись сталинской уловке, усматривали в Московских процессах и их непосредственных отзвуках главное действо Сталинизма. Однако сейчас, исходя хотя бы из статистических данных об арестах и расстрелах, кровавые чистки в рядах большевистской «старой гвардии» и связанных с ней меркнут в сравнении с масштабами «кулацкой операции» или репрессиями по «национальным линиям». Скорее, именно они, а не «разоблачения» различных «троцкистско-зиновьевско-бухаринских» центров, составляли главную фабулу сталинского Террора. События же, освещаемые на передовицах газет, совмещавшие зловещие признания бывших ленинских соратников со всенародными требованиями скорейшей расправы, являлись частью побочной канвы, служащей цели мобилизации общества и поддержки соответствующей военному времени атмосферы тотального напряжения. Показательные суды давали Сталину и окружению рычаг, позволявший контролировать всплески общей ненависти; тем самым большевистское руководство обезопасило себя от практически

бесконтрольной эскалации насилия, коей были отмечены последние годы нацистского режима. По той же причине тайна массовых операций явью стать не могла – как не могли стать явью короткий период послаблений и первые ограниченные реабилитации, связанные с заменой Ежова Берией¹. Партия, монополизировав право на планирование Утопии, блюла свое исключительное право на применение Тррора, как одного из самых эффективных средств по ее достижению.

Пожалуй, самым осязаемым результатом применения негативной селекции в создании социальной Утопии стало возникновение лагерной системы – целой «концентрационной вселенной», по выражению Давида Руссе. В теории, лагеря в Германии и Советском Союзе олицетворяли даже не обратную сторону Утопии, а ее отрицание – пространство, секвестированное от остального мира, в котором содержались «изъятые» из общественного тела слои населения. Если Утопия как преодоление истории мыслилась во вневременных категориях, то, следуя этой логике, сутью лагерной анти-Утопии являлась ее эфемерность. Это особенно ярко проявилось в нацистской колониальной империи, где «лагеря уничтожения» (*Vernichtungslagern*) возникали по мере радикализации плана по истреблению расово неполноценных; исчезнуть же они должны были вместе со своими последними узниками, и действительно, некоторые из них (Собибор, Белзец, Треблинка) были ликвидированы задолго до прихода частей Красной Армии. Истинные «фабрики смерти», лагеря «производили» небытие, превращая живые тела в мертвые, а мертвые – в рассеиваемый в окрестностях пепел из кремационных печей. В воображаемом будущем сохранение материальных следов массовых убийств – в виде тел или даже зданий – было связано с риском «рецидива» истории, окончательное разрешение проблематики которой так занимало умы нацистских строителей Утопии².

¹ *Lewin*, p. 112.

² *Baberowski and Doering-Manteuffel*, p. 194, 200.

Советские лагеря отличались от нацистской системы концентрационных лагерей своей относительной «долговечностью». Созданный постановлениями Совнаркома в 1930 году ГУЛАГ быстро превратился в важнейший экономический институт, настоящий резервуар миллионной армии рабов. Потерявшие право пользоваться свободой и благами советского общества зеки, тем не менее, должны были вносить свой посильный вклад в сталинскую версию социализма особенно в регионах со стратегически важными ресурсами: никелем, кобальтом, золотом, древесиной¹. Индустриализация, обусловившая превращение тюрем в «экономическую империю НКВД»², также предопределила конец системы. Как и его появление, сворачивание ГУЛАГа отвечало экономическим расчетам, указавшим на его возросшую неэффективность. Равно как и нацистские лагеря смерти, по времени совпавшие с наиболее радикальной фазой осуществления расовой Утопии, ГУЛАГ, немногим пережив Сталина, отметил временные границы периода интенсивного строительства нового мира.

Последнее совсем не случайно. Лагеря, представляя отрицание Утопии – жизни, обещанной в неопределенном, трансцендентном будущем, являлись в то же время наиболее концентрированным отражением имманентной действительности. Они были не просто «продуктами» эпохи радикальных социальных экспериментов, а именно микрокосмами тех обществ, к тотальной трансформации которых и призывали нацисты с большевиками. Труд гулаговских заключенных на проектах, не предназначенных для настоящего и не приносящих материального достатка, – не этой ли фразой можно описать жизнь и работу большинства советских граждан по другую сторону колючей проволоки? Расовые иерархии, определявшие порядковый номер узников немецких концентрационных лагерей в очереди за смертью, прочерчивали границы права на жизнь и воспроизвод-

¹ *Lewin*, p. 117.

² *Ibid*, p. 113ff.

ство внутри создаваемого нацистами «Фольксгемайншафта»¹. Лагеря и население за их физическими границами не теряли своей внутренней связи, и чем более туманными и отдаленными казались контуры Утопии, тем детальнее были директивы по общественному отсечению, тем активнее работали сталинские «тройки», тем быстрее везли свой груз поезда и вагоны к конечным станциям «Окончательного решения».

Лагерный мир стал синтезом утопического мышления и террористических практик. На большее нацизм и сталинизм не были способны. С другой стороны, а что если, вопреки утверждениям, приведенным выше, лагеря и были воплощенной Утопией? Формально они соответствовали описаниям новой, трансцендентной, реальности: искусственно ограниченные пространства, избавленные от элементов хаоса, иррациональности, случая, человеческие поселения, где не только повседневная рутина протекала по строго заведенному порядку, но и смерть наступала чаще всего по расписанию. Главным же было то, что в отличие от унаследованных от упадочного, отсталого прошлого обществ, в лагерных общинах социальная классификация – будь то «кулацкая» статья или биологически вредная раса – полностью контролировала фундаментальные аспекты бытия каждого. Можно утверждать, что большевики и нацисты создали лагерную анти-утопию на основе своих, однобоких, представлений об обществе; но можно также утверждать, следуя Ханне Арендт, что тоталитарные режимы преобразовывали действительность таким образом, чтобы последняя служила доказательством истинности пропагандируемой ими фикции². Если так, то действительность лагеря и была правдой утопической фикции.

Пусть это прозвучит несколько схематично, но в конечном итоге и сталинизм, и нацизм представляли собой попытку «упо-

¹ *Baberowski and Doering-Manteuffel*, p. 220.

² *Arendt, H.* *The Origins of Totalitarianism*. New ed. with added prefaces. – San Diego: Harcourt Brace, 1985, p. 350 и далее.

рядочения» мира. Сама идея порядка как сведения «действительного» в рамки рационального подразумевает избирательность: режимы сохраняли одни элементы, подтверждающие или отражающие воображаемый миропорядок, и отбрасывали другие, которые находились в противоречии с их тоталитарным видением. Из этого следует необходимость связи между утопическими планами на будущее и негативной селекцией в настоящем. Станным поэтому кажется двойственность исторической памяти в современной России, способной отделить положительные аспекты сталинской социальной политики от сопутствовавшего ей кровавого террора. Остается лишь задаться простым вопросом: чего в этом больше – невежества или самообмана?

Об авторе

Михаил Акулов, уроженец Казахстана, защитил докторскую диссертацию в Гарвардском университете в 2013 году. В том же году он вернулся в Алматы и был принят на преподавательскую, научную и административную должность в Казахско-Британском Техническом Университете. Работая заведующим кафедры истории и социальных наук, а затем в качестве декана факультета общего образования, он сосредоточился прежде всего на согласовании учебной программы гуманитарных наук с ключевыми современными практиками. С осени 2018 года начал работу в Назарбаев Университете на кафедре истории, философии и религиоведения, где преподает комплексную историю Евразии периода «Короткого двадцатого века» (1914–1991).

Литература

Вальтер Б. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / перевод С.А. Ромашко. – Москва: Медиум, 1996.

Hannah, A. The Origins of Totalitarianism. New Edition with added prefaces. – San Diego: Harcourt Brace, 1985.

Baberowski, J. Der Feind ist Überall Stalinismus im Kaukasus. – München, Germany: Deutsche Verlags-Anstalt, 2004.

Baberowski, J. and Doering-Manteuffel, A. The Quest for Order and the Pursuit of Terror: National Socialist Germany and the Stalinist Soviet Union as Multiethnic Empires // Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared / Edited by Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009, p. 180–227.

Fritzsche, P. Life and Death in the Third Reich. – Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2008.

Fritzsche, P. and Hellbeck, J. The New Mann in Stalinist Russia and Nazi Germany // Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared / Edited by Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009, p. 302–341.

Gerlach, C. and Werth, N. State Violence-Violent Societies // Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared / Edited by Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009, p. 133–179.

Gerwarth, R. and Horne, J. editors. War in Peace: Paramilitary Violence in Europe after the Great War. – Oxford, UK: Oxford University Press, 2012.

Hoffmann, D.L. and Timm, A.F. Utopian Biopolitics: Reproductive Policies, Gender Roles, and Sexuality in Nazi Germany and the Soviet Union // Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared / Edited by Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009, p. 87–129.

Holquist, P. Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.

Holquist, P. State Violence as Technique: The Logic of Violence in Soviet Totalitarianism // Stalinism: The Essential Readings / Edited by David L. Hoffmann. – Malden, MA: Blackwell Publishers, 2003, p. 129–156.

Jones, H. The German Empire // Empires at War, 1911–1913 / Edited by Robert Gerwarth and Erez Manela. – Oxford, UK: Oxford University Press, 2014, c. 52–72.

Leonhard, J. Die Büchse der Pandora. – München, Germany: Verlag C.H. Beck, 2014.

Lewin, M. The Soviet Century / Edited by Gregory Elliot. – New York: Verso, 2005.

Mazower, M. Dark Continent: Europe's Twentieth Century. – New York: Vintage Books, 1998.

Payne, S. A History of Fascism, 1914–1945. – Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1995.

Peukert, D. The Genesis of the ‘Final Solution’ from the Spirit of Science // Nazism and German Society, 1933–1945 / Edited by David F. Crew. – London, New York: Routledge, 1994, p. 274–299.

Schlögel, K. Terror und Traum: Moskau 1937. – Nördlingen, Germany: Fischer Taschenbuch Verlag, 2011.

Schnell, F. Räume des Schreckens: Gewalt und Gruppenmilitanz in der Ukraine, 1905–1933. – Hamburg, Germany: Hamburger Edition Institut für Sozialforschung, 2012.

Жулдузбек Абылхожин

**Антикрестьянская репрессивная политика
сталинского режима и ее практика в Казахстане
(конец 1920-х – начало 1930-х годов)**

Вопреки своим лозунгам о «союзе рабочего класса и крестьянства», большевики рассматривали крестьянство как противника пролетариата в классовой борьбе. Сталин открыто заявлял, что классовая борьба в деревне ведется пролетариатом отнюдь не только против эксплуататорских элементов. «А противоречия между **пролетариатом и крестьянством** в целом – чем это не **классовая борьба...** Разве это неверно, что пролетариат и крестьянство составляют в настоящее время два основных класса нашего общества, что между этими классами существуют **противоречия...**, *(выделено авт.)* вызывающие борьбу между этими классами?»¹.

Так ли это было на самом деле? Известно, что **любое общество есть концентрированное выражение огромной совокупности малых и больших социальных групп**, бесконечный ряд которых простирается от семьи и, например, производственной бригады до класса, конфессии или этноса. Уже одна эта данность предполагает, что **всякий социум соткан из множества противоречий, основанных на материальных и идеальных интересах различных социальных групп**, которые к тому же не статичны, т. е. постоянны, а ситуативно варьируются и, следовательно, даже в теоретической абстракции просто не могут совпадать везде, во всем и всегда. Другими словами, уже по природе своей **любое общество в принципе конфликтогенно.**

¹ *Сталин И.В.* Вопросы ленинизма. – Москва: Партиздат, 1933. С. 156.

Однако действующие в обществе противоречия есть лишь потенциальная возможность конфликта, они еще не суть его явных форм и уж тем более не тождественны классовой борьбе, как это трактовал Сталин. Функция властных структур в том и заключается, чтобы, используя арсенал социально-экономических и политических регулятивных средств, пытаться не доводить противоречия до открытых структурных конфликтов, особенно в их насильственных формах. **Государство есть инструмент поддержания баланса разновекторных интересов в обществе как обязательного условия его равновесия и стабильности. В этом же состоит чрезвычайно сложное искусство государственной политики.**

Но Сталин, следуя своим идеологическим предшественникам, видел в государстве лишь машину подавления. Отсюда его восхищение не А. Токвилем или, скажем, А. Линкольном, а такими персонификаторами государственной тирании, как Иван Грозный и Петр Первый, в деяниях коих он видел свою «индальгенцию» перед судом будущих поколений, которые, как он надеялся, найдут в логике и контексте истории российской «смуты» оправдание и его преступным действиям. (К сожалению, отзвук этих сталинских надежд мы до сих пор можем наблюдать в отдельных фрагментах современного массового общественного сознания, носители которого продолжают оправдывать деяния «своего вождя и учителя»).

Следует иметь в виду, что именно в это время Сталин выступил с претензией на теоретическое развитие марксизма-ленинизма, выдвинув тезис об «обострении классовой борьбы по мере движения к социализму»¹. По этому поводу признанный теоретик партии Н. Бухарин, выступая на объединенном пленуме ЦКК (Центральной контрольной комиссии) и ЦК ВКП(б) (апрель 1929 г.), иронизировал: «По этой странной теории выходит, что чем дальше мы идем вперед в деле продвижения к

¹ *Сталин И.В.* Сочинения. – Москва: Государственное издательство политической литературы, 1951. Т. 11. С. 169.

социализму, тем больше трудностей набирается, тем больше обостряется классовая борьба, и у самых ворот социализма мы, очевидно, должны... открыть гражданскую войну... Теория... провозглашает такой тезис, что чем быстрее будут отмирать классы, тем больше будет обостряться классовая борьба, которая, очевидно, разгорится самым ярким пламенем как раз тогда, когда никаких классов уже не будет!»¹.

Эта саркастическая реплика Бухарина на пленуме вызвала смех в зале (как видно из его стенограммы). Между тем именно Бухарин, а не Сталин проявил себя в данном случае дилетантом от политики. Тогда как «правый уклонист» продолжал наивно мыслить в рамках абстрактных идеалов марксизма-ленинизма, **Сталин выстраивал свою «теорию» в прагматических категориях тоталитарного государства. А их сутью является уничтожение всякого инакомыслия, недопущение любых девиантных, т. е. отклоняющихся от заданных идеологических матриц размышлений по поводу правомерности тех или иных действий власти как важнейшего условия сохранения режима.**

Неважно, что в целях сохранения «политеса», т. е. социалистической традиции, подавление инакомыслия (проявляется ли оно в различиях образа жизни, социальных или этнокультурных стереотипах, да и просто обыденных поведенческих установках) подается в облатке «классовой борьбы». Это даже удобно, поскольку не требует изощрений в выдумке идеологических обоснований и ярлыков: «классовый враг», и все тут. (Вскоре будет задействован еще более безапелляционный и универсальный для режима стигмат – «враг народа»).

Поэтому не прав был Н. Бухарин, высмеивая Сталина. Как раз таки с построением социализма (в его большевистской интерпретации) завершается формирование тоталитарной системы, и, следовательно, насилие и контроль над личностью и социумом в целом не только не устраняются, но, подобно ра-

¹ Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. – Москва: Политиздат, 1989. С. 263–264.

ковым метастазам, еще больше разрастаются по всему общественному организму, буквально по всем его клеточкам.

Хлебозаготовка

Учение вождя нашло свою реализацию в ходе административно террористических по своей сути антикрестьянских репрессивных кампаний сталинского режима в конце 1920-х – начале 1930-х годов.

В своей наиболее явной форме они стали разворачиваться уже в ходе проведения чрезвычайных хлебозаготовительных акций. К этому времени, в силу государственной монополизации промышленности, имело место навязывание потребителям (и прежде всего, сельчанам) монопольно же высоких цен на ее продукцию, тогда как закупочные цены на сельскохозяйственные товары устанавливались на крайне низком уровне: в 1927/28 хозяйственном году госцены на зерно были ниже цен так называемого «черного рынка» почти на 40 %, а в 1928/29 хозяйственном году – уже на 50 %.

В результате складывающегося диспаритета цен крестьянство становилось объектом обложения своеобразным сверхналогом, величина и тяжесть которого определялись разницей цен на промышленные товары и сельхозпродукцию. Средства от этого сверхналога или в буквальном смысле крестьянской дани и предполагалось направлять на индустриальное развитие.

Созданная государством ситуация широкого разведения «ножниц» цен на промышленные и сельскохозяйственные товары, «товарный голод», т. е. острый дефицит товаров широкого потребления, и инфляция вызывали отказ сельских производителей продавать государству свою продукцию. Крестьяне, имевшие запасы хлеба, утратили всякий смысл реализовывать его по низким ценам. Да и на те мизерные деньги, которые можно было получить за хлеб, не представлялось возможным что-то купить вследствие все того же «товарного голода» и дороговизны промтоваров. Отпадал и вариант с денежными

сбережениями, поскольку инфляция обесценивала их весьма быстро.

Названные причины в своей совокупности породили хлебозаготовительный кризис 1927/28 года. В советской историографии он однозначно интерпретировался как результат «кулацкой хлебной стачки, спровоцированной зажиточными и контрреволюционными элементами деревни с целью удушения голодом диктатуры пролетариата». На самом деле это была естественная экономическая реакция сельских производителей на силовую политику государства.

Чтобы не доводить дело до открытого конфликта, государство имело возможность воспользоваться обширным арсеналом экономических рычагов и средств. Так, можно было (как это предлагали некоторые представители оппозиции) смягчить жесткую ценовую политику в отношении деревни. Однако в вопросе о закупочных ценах власть ни на йоту не желала отступать от ленинской установки. Как известно, в период политики «военного коммунизма» (1918–1921 гг.) вождь учил: «Если мы удвоим цены, они (*имеются в виду зажиточные крестьяне и кулаки – авт.*) скажут: нам повышают цены, проголодались, подождем, еще повысят. Это – дорога торная, дорога угождения кулакам и спекулянтам, на нее легко стать и нарисовать заманчивую картину»¹.

Вторя своему учителю, Сталин настаивал на точно таком же сценарии развязки конфликта с крестьянством: «...Лучше нажимать на кулака и выжать у него хлебные излишки..., чем тратить валюту, отложенную для того, чтобы ввезти оборудование для нашей промышленности»².

Итак, вождю представлялось «лучшим» развернуть репрессии против миллионов крестьян, чем поступиться «принципами» нарождавшейся «револьверно-лагерной» административ-

¹ Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – Москва: Издательство политической литературы, 1969. Т. 36. С. 411.

² Сталин. Сочинения. Т. 12. С. 92.

но-командной политики. Тем более, что для реализации такого подхода режим уже располагал к тому времени мощным ресурсом обеспечения в виде отлаженного репрессивного аппарата, т. е. широко разветвленной инфраструктуры карательных органов. Вскоре всё и вся стал определять знак «чрезвычайки», вылившейся в ходе хлебозаготовительных кампаний в форму прямых экспроприаций, а затем и в массовые политические репрессии против крестьянства.

Сам Сталин открывал «хлебный фронт» в Сибири, где он пребывал в течение почти трех недель (январь-февраль 1928 г.). Выступая в Новосибирске и Омске (18, 27 и 28 января 1928 г.), он в директивной форме настаивал на массовом применении ст. 107 УК РСФСР¹. Ранее эта статья предусматривала наказание за «злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска таковых на рынок» (т. е. по сути она отражала право государства административно вмешиваться в механизм нэпа). В ходе разразившегося хлебозаготовительного кризиса она, в плане своего применения, была существенно подкорректирована и с января 1928 г. стала распространяться главным образом на держателей хлеба, «отказывавшихся от сдачи его излишков по госценам, и на хлебных спекулянтов». В виде наказания ст. 107 предусматривала лишение свободы сроком до одного года с конфискацией всего или части имущества, а при «групповом сговоре» – до трех лет заключения с полной конфискацией².

Таким образом, чтобы придать откровенно неправовым акциям видимость законности, Система изощренно апеллировала даже к Уголовному кодексу (ст.ст. 107, 61, 73, 102, 127, 135, 60 и другим статьям УК РСФСР и далее – к ст. 58-10, предусматривающей наказание за контрреволюционную деятельность). При этом роль главного поборника законности пытался играть

¹ *Сталин*. Сочинения. Т. 2. С. 369–370.

² Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (УК РСФСР). – Москва, 1932. С. 56.

сам Сталин, который на собрании актива Московской организации ВКП(б) (апрель 1928 г.) лицемерно осуждал «целый ряд случаев извращений политики (хлебозаготовительной – авт.), бьющих прежде всего... по бедноте и середнякам, неправильное применение 107 статьи и т. д.»¹.

Цинично ратуя на словах за законность, ЦК ВКП(б) слал на места «закрытые» директивы с требованием усилить нажим. В начале января 1928 г. ЦК рассылает новую директиву, текст которой завершается прямой угрозой в адрес руководителей партийных организаций «в случае, если они не добьются в кратчайший срок решительного перелома в хлебозаготовках»².

Как всегда в практике Системы, политические акции получали идеологическое обеспечение в виде мощной пропагандистской машины. Поэтому отнюдь не случайно газеты запестрели лозунгами типа «Осадить кулака!», «Еще раз зажать кулака и бая!», «Крепче ударим по кулацко-байским ублюдкам!», «В атаку против классового врага!», «Смерть гноителям хлеба!», «За спрятанный хлеб – в тюрьму!». «Смерть кулакам и баям – организаторам голода!» и т. д.

А в это время информационные сводки орготдела ВЦИКа фиксировали настроения полного разочарования крестьянства политикой власти, все стремительнее отходящей от компромиссной по отношению к крестьянству идеологии нэпа. На многочисленных сходах крестьяне откровенно заявляли: «Надо допустить свободную торговлю хлебом, все будут сыты, а то большевики-лодыри уморят с голоду», «Не нужно развивать сельское хозяйство, иначе правительство задавит налогом», «Лучше Ленин, чем ленинизм. Лучшие коммунисты убиты и умерли. Остались сволочи», «Советская власть установила крепостное право», «Средняка разоряют, предоставляя за его счет льготы лодырям-беднякам», «Рабочий теперь буржуй, а крестьянин – овечка, вот теперь его и стригут», «Советская власть

¹ Сталин. Сочинения. Т. 2. С. 11.

² Там же. С. 48.

зажала крестьян хуже, чем при старой власти. Такой власти помогать не надо» и т. п.

Сильнейший административный террор был развязан в ходе заготовительных кампаний в казахском ауле. Здесь кампания по заготовкам скота с самого начала приняла характер силовых акций времен «военного коммунизма». Размеры заготовок определялись плановыми заданиями, но те, как оказалось, имели в своей расчетной основе фальсифицированные данные о количестве у населения скота, так как более или менее достоверные сведения (налоговой учет Наркомфина) в ходе своего продвижения от одной бюрократической инстанции к другой были существенно изменены в сторону увеличения (это оправдывалось тем, что финансовые органы, дескать, не учли огромное сокрытие скота от налогообложения). В результате таких приписок и грубого волюнтаристского планирования в районы стали спускаться задания, на много превышавшие реальную численность имевшегося в наличии скота. В этой связи характерен пример Балхашского района, располагавшего стадом в 173 тыс. голов скота, но получившего разверстку по заготовкам почти на 300 тыс. единиц.

Естественно, что очень скоро в краевые органы начали поступать жалобы. Но на них мало кто реагировал. Если они и получали какой-то отклик, то в духе изощренной казуистики. Так, З. Торегожин (зам. наркома заготовок) сообщал, что согласно рассчитанному им балансу при существующих объемах заготовок животноводство в республике вряд ли выстоит. Ответ последовал незамедлительно через воинствующую статью в партийном официозном журнале «Большевик Казахстана»: «В балансе... ярко проявилась вся суть правооппортунистической, механической методологии, теоретическая беспомощность, полное непонимание марксистско-ленинской диалектики... Автор ухватился за количественное снижение поголовья. Последнее – факт. Но ползучий уклонист за этим фактом не видит более существенных экономических и политических изменений... За внешней, поверхностной стороной

событий близорукий эмпирик не видит действительного роста социализма»¹.

«Промывание мозгов» дало свои результаты. И вскоре лозунг «Перегибов не допускать – парнокопытных не оставлять!» стал определяющим в кампании. Тем более, что по меркам заезжих заготовителей 25-30 баранов в хозяйстве выглядели чуть ли не «сверхбогатством», хотя специфика кочевого способа производства допускала подобное количество скота лишь как жизнеобеспечивающий минимум. Но это обстоятельство не принималось во внимание, и хозяйству этому в лучшем случае оставлялись 2-3 овцы, что ставило его на грань жизни и смерти.

Под прикрытием государственных интересов творились беззакония и при заготовках в ауле других видов сельскохозяйственной продукции. Так, в целях «ударного» проведения заготовки шерсти в ряде мест заставляли стричь овец посреди суровой зимы, что не могло не привести к массовому падежу скота. Были многократные случаи, когда в поисках хлеба заготовители наезжали в скотоводческо-земледельческие аулы и буквально выбивали его у хозяйств, имевших крошечные посеы. У них подчистую забиралось даже то ничтожное количество зерна, с которым связывалась единственная надежда на выживание.

Обязательные хлебозаготовки вопреки всякой логике распространялись и на несеющие хозяйства сугубо скотоводческих районов. Страшась обвинений в саботаже, их население было вынуждено обменивать свой скот на хлеб и сдавать последний в счет заготовок.

Например, скотоводы Илийского и Чокпарского районов вынужденно отдавали за 15 фунтов хлеба барана, а за четыре пуда – хорошего коня или взрослого верблюда. В этих же районах все хозяйства обязывались сдавать в счет заготовок по 1 кг старой кошмы; те же, кто не имел такой возможности, должны были покупать кошмы и сдавать их заготовителям.

¹ Большевик Казахстана, 1931, № 11. С. 40.

В Джетыгаринском районе в ходе заготовок утильсырья и шерсти представители краевых органов заставляли обрезать лошадям хвосты, противившемуся же этому казахскому населению приказывали выдавать вместо бараньего мяса свинину.

В одном из районов Южного Казахстана заготовки проводились подчас и таким образом (по свидетельству очевидца): «...Вызывают (*уполномоченные – авт.*) гражданина, предлагают сдать хлеб. Он отвечает – хлеба нет. Тогда ему в сапоги наливают воды и ночью при 25-ти градусном морозе ставят на улицу... Беременная женщина приходит в штаб, у нее требуют хлеб. Она его не имеет. Ее бьют и она тут же в штабе рожает раньше времени»¹.

Итак, в ходе заготовительных кампаний в Казахстане были проведены масштабные антикрестьянские репрессии. В этот период к административно-уголовной ответственности было привлечено 56 498 жителей села, из них 34 121 были осуждены. Материалы только по трем округам (Акмолинскому, Петропавловскому и Семипалатинскому) показывают, что в 1928/29 и 1929/30 гг. здесь было взыскано штрафов и изъято имущества более чем на 23 млн руб., конфисковано 54 тыс. голов скота, хлебных запасов – 630 тыс. пудов, различных строев – 258 единиц².

На закрытом заседании бюро Казкрайкома ВКП(б), состоявшемся 2 января 1930 г., Голощекин информировал, что в ходе заготовок, с 1 октября 1928 г. по 1 декабря 1929 г., по судебной линии было приговорено к расстрелу 125 человек, а по линии ГПУ за этот же период расстреляно 152 человека.

Зато руководители республики могли рапортовать, что Казахстан дал 33 % союзных заготовок шерсти, 20 – мелких кож, 17 – всей пшеницы, 10 % – всего мяса (1928/1929). Циничной grimасой выглядело то, что эти бравурные реляции из очеред-

¹ Центральный Государственный Архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 5. Оп. 21. Д. 39. Л. 25–26.

² Весь Казахстан. – Алма-Ата, 1931. С. 77.

ного отчета «наверх» были опубликованы в газетной рубрике под названием «Стимулирование товарности хозяйства».

Седентаризация

Сильнейшие разрушения в системе жизнеобеспечения казахского этноса вызвала сталинская политика силового перевода кочевников и полукочевников на оседлые формы хозяйства и быта. Идеология седентаризации (оседания), а также перспективы массовой коллективизации аула тесно увязывались со сменой хозяйственно-культурных типов деятельности. Иначе говоря, пути прогресса казахского крестьянства виделись в государственно организуемой трансформации скотоводческого хозяйства в оседло-земледельческое или стационарно животноводческое.

Данная акция идеологически раскручивалась как кампания «по выведению казахов-кочевников и полукочевников на рельсы культурного и социального прогресса». При этом абсолютно игнорировалось то, что преобладание среди казахов кочевого и полукочевого скотоводства объяснялось не какой-то их «культурной отсталостью».

На самом деле обозначенный тип хозяйственно-культурной деятельности был обязан своей данностью не какой-то, как писалось в газетных передовицах, идеологически сопровождавших развернувшуюся кампанию, «изначальной консервативности и отсталости казахского населения, незнакомого с земледелием», а объективной исторической эволюции, жестко корректировавшейся условиями экосистемы. Поглощавшее большую часть территории Казахстана аридное пространство, представляющее собой ярко выраженную экстремальную среду, требовало совершенно особых форм адаптации. И такие формы нашли свою реализацию в системе пастбищно-кочевого скотоводства, которая в тех условиях только и могла относительно эффективно интегрироваться в аридную эконишу, коей, повторим это еще раз, и была большая часть территории Казахстана. Только посредством выработки совершенно особо-

го, т. е. экологически адекватного номадного (кочевого) способа производства удавалось хозяйственно утилизировать обширные пустынные, полупустынные и степные ландшафты и тем самым социально адаптировать пространство.

Многие ученые и практики пытались в то время обосновать всю абсурдность задуманной властью акции по переводу скотоводов на оседлость. Так, известный исследователь П.П. Швецов в своей статье «Природа и быт Казахстана» (1926 г.) писал: «...Кочевой быт, характеризующий большую часть Казахстана, сохранился до сегодняшнего дня здесь не потому, что сам казах и казахское хозяйство еще так примитивны, что они еще не доросли в большей своей части до культурного уровня оседлого состояния. С этим предрассудком, нелепым и вредным, давно и решительно следует расстаться... В сухих степях с редкими и скудными водными источниками человек может вести только скотоводческое хозяйство, притом хозяйство кочевое, т. к. растительность в таких местах скудная, пригодная для корма скота относительно короткое время, и скот вынужден передвигаться за кормом с места на место, иногда на огромные расстояния.... Устраните это периодическое передвижение скота, и казаху нечего в ней (*в степи – авт.*) будет делать, т. к. никакое иное хозяйство здесь невозможно, и степь, кормящая теперь миллионы казахского населения, превратится в пустыню... Надо удивляться не тому, что казахи до сих пор сохранили кочевой быт, а тому, как они сумели при помощи кочевания овладеть сухими безводными степными пространствами и установить постоянное их хозяйственное использование»¹.

Однако аргументы специалистов глохли во властных партийных кабинетах, ибо их «сидельцы» уже ринулись в очередной «большевистский бой» с «дремучей архаикой». К 1933

¹ *Швецов С.П.* Природа и быт Казахстана: Казахское хозяйство в его естественно-исторических и бытовых условиях. – Ленинград, 1926. С. 93–94.

году в Казахстане было переведено на оседлость 182,6 тыс. кочевых и полукочевых скотоводческих хозяйств, или где-то около 1 млн человек.

Почему же мнения специалистов, противившихся политике массовой седентаризации, были проигнорированы, да к тому же еще и квалифицированы как «яркое свидетельство буржуазного презрения к огромным возможностям революционной энергии масс», как «пособничество казахскому байству» и т. д.?

Все объяснялось тем, что ход мыслей и рассуждений «ученых-сопротивленцев и абстрактных идеалистов-практиков» (как называли их в газетах и на партийных сходках) не совпадал здесь с прагматическими целями Системы.

А они были (по крайней мере, на начальном этапе) очень далеки от тех, что декларировала пропаганда, а в последующем заученно твердила советская историография. У последней по поводу данного вопроса был один рефрен: акция была движима исключительно задачей как можно более быстрого выведения кочевников на дорогу социального и культурного прогресса.

Но так ли это было на самом деле? А если нет, то что же послужило начальным импульсом для развертывания кампании на рубеже 1920–1930-х гг., и почему она актуализирована властью именно в этот период, а не раньше или позднее?

Как уже говорилось, планы форсированного индустриального развития резко актуализировали так называемую зерновую проблему. Во весь рост вставала задача обеспечения минимума продовольствия для миллионов рабочих и служащих, занятых в промышленности, а также стремительно увеличивавшегося в ходе индустриализации городского населения. Но самое главное – то, что без крупного увеличения производства зерна становилась проблематичной также закупка технического оборудования для промышленной модернизации (а она с самого начала базировалась на импортозамещающей основе), ибо для этого требовалась валюта, а ее в условиях ограниченной экспортной структуры можно было получить главным образом в обмен на хлеб. Между тем мировая экономика всту-

пала в кризисный цикл, что сказалось на резком падении цен на зерно. Поэтому необходимый для обеспечения индустриализации объем валютных средств достигался путем наращивания продажи зерна за кордон. Если в 1926 г. вывоз зерна из СССР составил 0,1 млн. т, то в 1929 г. – 1,3, в 1930 г. – 4,8, а в 1931 году (кстати, очень неурожайном) – 5,2 млн. т.

Таким образом, зерна требовалось все больше и больше. В связи с этим режим остро актуализировал задачу максимального расширения посевных площадей. Поэтому зерновая ориентация приветствовалась даже в тех регионах, где комплекс возможных разнохарактерных издержек (экономических, социальных, природных и т. д.) абсолютно не оправдывал ее. Главным был вал. И ресурс здесь был один – увеличение посевных площадей.

Поэтому у сталинского руководства резко возрастает интерес к необъятным земельным просторам востока страны. Картины здесь «рисовались» заманчивые. Так, союзный нарком земледелия Я. Яковлев рапортовал с трибуны XVI съезда ВКП(б): «По расчетам... в Казахстане от 50 до 55 млн га можно считать годными для посева, из которых около 36 млн га расположены в северных округах (...): Актюбинском, Кустанайском, Петропавловском, Акмолинском, Павлодарском, Семипалатинском. Здесь посевы пшеницы занимают только 5 процентов всей пахотнспособной площади. Если из этих 36 млн га, годных для посева, до 30 процентов занять под пшеницу, то мы к концу пятилетки в одном только Казахстане получим дополнительно 8–10 млн га под пшеницей при среднем урожае 6–7 ц/га»¹.

Столь «радужные перспективы», однако, «омрачались» тем обстоятельством, что «годные для посева» земли служили объектом хозяйственного освоения кочевых и полукочевых скотоводов, ибо испокон веков использовались ими под пастбища. Иными словами, случилось так, что планы Системы натолкну-

¹ XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков): Стенографический отчет. – Москва, Ленинград: Госиздат, 1930. С. 584.

лись на «некое» препятствие в виде традиционного скотоводческого комплекса.

Имеются все основания утверждать, что на тот момент (рубеж 1920–1930-х гг.) степные номады с их специфическим способом производства вошли в противоречие не столько с логикой развития производительных сил или какими-то другими объективными предпосылками, сколько с государственным курсом на всемерное расширение зернового хозяйства во имя сверхбыстрых темпов индустриализации. Развязка конфликта виделась в форсированном и массовом переводе кочевников и полукочевников всего радиуса «пахотноспособной площади» на оседлые формы хозяйства и быта, т. е. превращении скотоводов в земледельцев или «культурных животноводов». Посредством этого предполагалось, во-первых, высвободить новые земельные площади (т. е. пастбища) под зерновые посевы, а во-вторых, обеспечить их субъектами хозяйствования в лице вчерашних скотоводов. Как тогда заявлялось, оседание «даст возможность совхозам получить до 300 тыс. рабочих»¹.

Достаточно показательны в этом отношении и постановления, принятые VII съездом Советов КАССР по докладу Наркомзема. В ней, в частности, была и такая резолюция: «... Развитие зернового хозяйства в крае опирается прежде всего в проблему оседания полукочевого и кочевого населения Северного Казахстана и ряда районов Южного. Расширение посевных площадей должно быть достигнуто за счет... оседания казахского населения во всех частях республики, пригодных ... для развития зернового хозяйства»².

Пиком антикрестьянской репрессивной политики явилась массовая коллективизация сельского хозяйства, которая проводилась в административно-силовом режиме. Уже на 20 февраля 1930 г. в Казахстане насчитывалось 6722 колхоза, которые включали 441 931 хозяйство, или 35,3 % их общего числа.

¹ Народное хозяйство Казахстана, 1930, № 5–6. С. 49.

² VII Всеказахский съезд Советов. 8–15 января 1929 г.: Стенографический отчет и постановления. – Алма-Ата, 1930. С. 168.

Форсированными темпами протекала коллективизация в скотоводческих районах. Здесь со всей очевидностью сказывалась идеология, выработанная под нажимом Голощекина еще на V Пленуме Крайкома (декабрь 1929 г.). В резолюции Пленума было записано: «Всемерно... стимулировать коллективизацию животноводческих хозяйств в таких же темпах, как по зерновому хозяйству»¹.

Начавшееся колхозное движение было вызвано отнюдь не крестьянской инициативой, как это пыталась представить пропаганда. Здесь прямо сказывались методы откровенного давления. Нарушения формально декларируемого партийными постановлениями принципа добровольности и элементарной законности с самого начала приняли повсеместный и массовый характер.

Источники, например, отмечают, что очень часто во время проведения сельских сходов вместо обращения «кто хочет вступить в колхоз?» проводники коллективизации, с угрозой поигрывая наганом, зловеще вопрошали: «Ну, кто здесь против коллективизации?!». В тех случаях, когда крестьяне все же не проявляли «доброй воли» и не спешили избавляться от «буржуазной» частной собственности, к ним применяли иные «воспитательные» меры. Наиболее типичными и распространенными являлись такие приемы принуждения, как лишение избирательных прав, угроза выселения за пределы района проживания или превентивный арест.

Информационные сводки сообщают и о таких изощренно-садистских приемах «коллективизации», как имитация расстрела (когда по несколько раз стреляли умышленно выше головы якобы приговоренного к расстрелу, что, естественно, доводило жертву до потери рассудка), раздевание на морозе, вождение под конвоем босыми по снегу через всю деревню, насильное заталкивание в ледяную прорубь и т. д.

Ответом на насильственную коллективизацию явилось крестьянское движение сопротивления. Осенью 1929 г. его

¹ VI Пленум Казкрайкома ВКП (б). – Алма-Ата, 1930. С. 49.

очаги вспыхнули в Бостандыкском районе Сырдарьинского округа, Батбакаринском и Наурзумском районах Кустанайского округа, Балхашском районе Алма-Атинского и Иргизском районе Актюбинского округов. Весной 1930 г. крестьянскими мятежами были охвачены Зырянский, Усть-Каменогорский, Самарский, Шемонаихинский, Катон-Карагайский районы Восточного Казахстана, Сарысуйский и Сузакский районы Сырдарьинского округа и т. д. В секретных информационных сводках ОГПУ в Казахстане к этому времени было зафиксировано более 400 вооруженных выступлений повстанцев, причем в огепеушных отчетах они квалифицировались как «кулацко-байские бандитские вооруженные выступления». Войска ОГПУ чинили зверскую расправу над сопротивленцами без всякого судебного разбирательства, их расстреливали на месте лишь по тому «доказательству», что они из этого рода или района, или что, дескать, руки «пахнут порохом». При подавлении использовалась даже артиллерия. Тем не менее масштабы протестного движения разрастались. В связи с этим 31 марта 1930 г. руководство Казкрайкома выслало Сталину телеграмму с просьбой разрешить задействовать в карательных операциях регулярные армейские части.

Власть была напугана, что видно из закрытого письма ЦК ВКП(б) от 2 апреля 1930 г. В нем говорилось: «Поступившие в феврале сведения о массовых выступлениях крестьян в ЦЧО (*Центрально-Черноземная область – авт.*), на Украине, в Казахстане, Сибири, Московской области вскрыли положение, которое нельзя назвать иначе как угрожающим. Если бы не были тогда немедленно приняты меры..., мы имели бы теперь широкую волну повстанческих крестьянских выступлений, добрая половина наших «низовых» работников была бы перебита крестьянами... и было бы поставлено под угрозу наше внутреннее и внешнее положение... Несмотря на указанные важнейшие директивы Центрального Комитета по этому вопросу..., до сих пор не устранены вопиющие ошибки... Это заставляет Центральный Комитет обратить внимание...

на серьезность положения... Факты повстанческого движения... в ряде округов Украины, в горных районах Северного Кавказа и в Казахстане с особенной силой подчеркивают опасное обострение политической обстановки в деревне... Наблюдающееся местами легкомысленное отношение к втягиванию частей Красной Армии в борьбу с массовыми выступлениями в деревне может не только ухудшить положение, но и повести к ослаблению боевой дисциплины в Красной Армии... Под угрозу поставлено дело коллективизации и социалистическое строительство в целом...».

Резкий тон письма несколько сбил коллективизаторский пыл. Под угрозой политического кризиса началось вынужденное отступление в колхозном движении. Этим сразу же воспользовалось крестьянство.

Если на 1 апреля 1930 г. было коллективизировано 649,4 тыс. крестьянских хозяйств Казахстана, или 52 % от их общего числа, то в июне их численность упала до 353,9 тыс. (28,5 %). Следовательно, процент коллективизированных хозяйств в одночасье упал почти в два раза. Из колхозов республики вышло (правильнее было сказать, сбежало без оглядки) около 300 тысяч крестьянских хозяйств. Количество колхозов сократилось за этот период с 7019 до 5701.

Но вскоре «машина коллективизации» вновь включила форсаж, стремительно набирая заданную высоту. Декабрьский (1930 г.) Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) уточнил новые задания по коллективизации на 1931 г. В соответствии с его решениями в зерновых районах второй группы, куда входил Казахстан, должно было быть коллективизировано не менее 50 % крестьянских хозяйств. Пленум определился и с понятием «сплошная коллективизация». Критерием ее завершения признавался 80-процентный рубеж. В сентябре 1931 г. из 122 районов Казахстана 96 перешли заданный партией 50-процентный рубеж, а 72 по формальным признакам могли быть отнесены к «районам сплошной коллективизации», ибо вышли за пределы восьмидесяти процентов.

При этом в животноводческих колхозах мера обобществления перешагнула всякие допустимые пределы. Расширенному толкованию процесса коллективизации служили категоричные команды вышестоящих организаций, в том числе того же Казкрайкома. В решениях одного из его пленумов записано: «В животноводческих и животноводческо-земледельческих районах основное внимание должно быть направлено на полное обобществление в сельхозартелях всего товарно-продуктивного стада».

В духе этой установки тургайские работники, например, поставили задачу «весь скот обобществить, не оставляя ни одного козленка в индивидуальном пользовании». Другим показалось этого недостаточно, и они решили «в целях изжития мелкособственнической психологии колхозника передать скот одного колхоза другим колхозам» (из районных директив).

«Большевистская атака на мелкобуржуазную собственность» очень скоро дала свои плоды. К февралю 1932 г. в Казахстане 87 % хозяйств колхозников и 51,8 % единоличников полностью лишились своего скота.

Куда же девался скот? Будучи обобществленным на все 100 %, он собирался на так называемых колхозно-товарных фермах. Очень часто за этим громким названием в действительности значился участок степи, огороженный изгородью или колышками с арканами. Но здесь надо иметь в виду, что, как и настаивал Казкрайком, в ходе коллективизации делалась ставка на «создание крупных животноводческих хозяйств». А это понималось как механическое объединение нескольких сотен хозяйств в радиусе до 200 и более километров в единый колхоз-гигант. В Курдайском районе существовало немало сельхозартелей, объединявших 600-800 хозяйств, в Келесском районе первоначальные 112 колхозов были объединены в 35, в Арыском из 138 было создано 67 сельхозартелей, в Таласском районе в так называемые городки сгонялось до 300-400 хозяйств. Разумеется, в таких уродливых образованиях не могло быть и речи о соблюдении основного экосистемного принципа

па номадного (кочевого) способа производства – точной (симметричной) соотношенности численности скота и природных водно-кормовых ресурсов.

Между тем хозяйственников новой формации все это мало интересовало. Вопреки народному опыту они всемерно поощряли любую концентрацию. Однако разрушение сложившейся организации производства с ее принципами разумной концентрации и дисперсности (пространственного рассеивания с целью рационального использования среды обитания) не сопровождалось созданием другой, технологически приемлемой альтернативы.

Расплата за абсурдные решения не заставила себя долго ждать. Собранный в огромнейших концентрациях на колхозно-товарных фермах и не имевший возможности прокормиться скот попросту погибал. Надо добавить, что и тот скот, который был собран по линии заготовок, в результате бескормицы и вызванных скученностью скота эпизоотий во многих случаях не доходил до потребителя, образуя на скотопрогонных путях гигантские скотомогильники.

Итак, именно через коллективизацию сталинский Левиафан заполучил в свой арсенал «гениальное» орудие беспрепятственной и тотальной «выкачки» продукта из аграрного сектора. Понятно, что грабительская обираловка не могла не встретить сопротивления колхозов. Многие их руководители в то время еще не до конца осознали, что решения о форсированном расширении сельхозартельной формы производства (колхозов) определялись прежде всего задачей обеспечения удобной и бесконфликтной для власти «перекачки» сельского продукта на нужды индустриализации, но отнюдь не для того, чтобы, как фарисействовал Сталин, «жить стало лучше, жить стало веселее». Они еще не успели свыкнуться с мыслью, что общественные zakрома должны рассматриваться не как элемент расширенного воспроизводства колхозной экономики и фактор повышения материального благосостояния членов сельхозартелей, а скорее, как своеобразная транзитная база продвижения

хлеба за кордон в целях получения валюты и прокорма рекрутов индустриализации.

Поэтому в первое время находилось немало работников, наивно пытавшихся апеллировать к разуму. Например, бюро Мендыгаринского райкома партии долго не соглашалось с твердыми заданиями по заготовкам, спущенными из Краевого комитета ВКП(б). Когда же нажим усилился, секретарь райкома заявил: «Ну что ж, раз так, то я возьму все до квашни, разую и раздену все колхозы, и они разбегутся». Из другого райкома (Карабалыкского) сообщали: «Экономика района окончательно подорвана непосильными планами. Колхозники, а также бедняки и середняки не имеют перспективы своего существования. Мы оттолкнули от себя колхозников, они от нас уходят».

Реакция Крайкома на многочисленные сигналы о заготовительном терроре была однозначна: «Все это не более как вредительство и еще не изжитые индивидуалистические настроения». Так, выступая в августе 1931 г. на Алма-тинском городском партактиве, Голощекин разразился следующей тирадой: «В некоторых районах есть пониженная урожайность, и это определяет трудности, которые мы будем иметь. Трудности состоят не в том, что мы имеем пониженный урожай, а в том, что, где есть пониженный урожай, там он породил вредительские настроения, панику, размагничивание. Если райисполком, райком партии, ячейка начинают создавать панику, начинают составлять архиглупые «хлебофуражные» балансы *(имеются в виду расчеты специалистов с мест о нереальности хлебозаготовительных планов – авт.)*, то тут со всей очевидностью встает угроза мобилизации колхозов на выполнение важнейшей задачи... – на выполнение хлебозаготовительного плана». Далее, как всегда поменяв местами причину и следствие, свалив все с больной головы на здоровую, Голощекин грозно предупредил партийных «челобитчиков» районного масштаба: «С такими райкомами, с такими секретарями, с сеющими панику ячейками мы должны драться и будем драться крепко, по-большевистски, будем

рассматривать каждого такого паникера как дезорганизатора социалистического строительства».

«Драка по-большевистски» обернулась вскоре снятием одной трети председательского корпуса колхозов. «Чистили» и секретарей райкомов ВКП(б). Например, одного только что назначенного секретаря исключили из партии прямо по дороге во вверенный ему район, так как он заявил: «Я не поеду на костях колхозников заготавливать хлеб для государства». Но применялись и более суровые наказания. 14 декабря 1932 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в Западной области», которым вменялось применять по отношению к «саботажникам хлебозаготовок с партбилетом в кармане... осуждение на 5–10 лет заключения в концлагерь, а при известных условиях – расстрел». Эта установка исподволь реализовывалась и в Казахстане.

Когда стало ясно, что жалобы с мест рассматриваются в коридорах власти как «демарши капитулянтского оппортунизма» и, кроме негативной реакции, не возымели абсолютно никакого действия, в ход пошли всевозможные ухищрения. Для того, чтобы оставить себе на пропитание и семена хоть какую-то толику выращенного урожая, колхозники специально не выкашивали полосы хлеба у дорог, межей, арыков, недоочищали зернотоки, пропускали зерно в мякину, оставляли на полях колосья, использовали умышленно неотрегулированные молотилки с целью пропуска колосьев в солому и т. д.

Вскоре, однако, был вновь включен отработанный механизм государственного террора, и эти действия стали пресекаться еще более суровыми мерами. После того как 7 августа 1932 г. был принят закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и общественной (социалистической) собственности», за подобные дела грозил расстрел, а при «смягчающих обстоятельствах» – 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На январском (1933 г.) Пленуме ЦК и ЦК ВКП(б) нарком юстиции Н. Крыленко докладывал, что за неполных пять меся-

цев действия этого закона в стране было осуждено 54 645 человек, к высшей мере наказания приговорено 2110, в отношении 1000 человек приговор был приведен в исполнение. Тут же он потребовал от судей, у которых рука устала подписывать драконовские решения, прекратить всякие проявления «миндальничания» (вскоре Крыленко сам станет жертвой репрессий, как говорится, за что боролся, на то и напоролся). Откликаясь на эту установку, Казахское отделение Верховного Суда выговаривало своим судам: «...Уменьшение количества приговоренных к расстрелу в период с 5 мая по 1 августа 1933 г. на 44,5 % (с 305 до 163 человек) нельзя признать нормальным». Причем в этом документе тут же констатируется, что «на 163 осужденных к расстрелу только 18 классовоуждых элементов» (последняя фраза дает понять, что социальная принадлежность могла служить безапелляционным основанием для лишения человека жизни).

Поводом для жесткого наказания могли стать самые пустяковые провинности. Примеров тому буквально сотни. Приведем здесь лишь несколько наиболее характерных случаев из судебной практики того периода.

Так, нарсуд Курдайского района приговорил к 10 годам лишения свободы одного из колхозников за одноразовое использование «общественных лошадей в поездке по личным делам»; Усть-Каменогорский суд дал тот же срок (ниже не было) другому несчастному за то, что его дети украли 6 кг проса, а крестьянину-середняку – за кражу 17 кг зерна (по-видимому, судьи квалифицировали данное преступление как крупное хищение, ибо во многих случаях «народные» судьи, не раздумывая, судили и за несколько сот граммов); Сталинский нарсуд (совпадение глубоко символично) отправил в лагеря колхозников, посмевших не уследить за колхозной лошадейю, на которую свалился стог сена и повредил ей глаз; тем же судом был обречен на ужасы ГУЛАГа их односельчанин, ударивший лопатой строптивного колхозного верблюда. Судили матерей, пытавшихся вынести с колхозного поля несколько колосков или картофе-

лин, чтобы не дать умереть с голоду своим малолетним детям (не зря судебные приговоры по августовскому закону 1932 г. называли «делами о пяти колосках»).

Опустошающим смерчем прошла коллективизация по казахскому аулу. Беспрецедентный урон понесло животноводство. В 1928 г. в республике насчитывалось 6509 тыс. голов крупного рогатого скота, а в 1932 г. – всего 965 тыс. Даже накануне войны, в 1941 г., доколхозный уровень не был восстановлен (3335 тыс. голов). Еще больше поражают цифры по мелкому скоту: из 18 566 тыс. овец в 1932 г. осталось только 1386 тыс. (перед самой войной численность стада едва приблизилась к 8 млн голов). Из конского поголовья, составлявшего в 1928 г. 3516 тыс., в 1941 г. осталось 885 тыс. голов. Практически перестала существовать такая традиционная для края отрасль, как верблюдоводство: к 1935 г. осталось всего 63 тыс. верблюдов, тогда как в 1928 г. их насчитывалось 1042 тыс. голов¹.

По некоторым скотоводческим районам картина была еще более страшной. Например, в Жана-Аркинском районе Карагандинского округа осталось на начало 1933 г. всего 343 лошади (в 1931 г. – уже после многочисленных реквизиций – было 10 666 голов), 453 единицы крупного рогатого скота (9971), мелкого рогатого скота – 665 голов (26 620), верблюдов – 119 (4364).

Как мы помним, многие честные работники и практики, лишенные карьеристских амбиций (и поплатившиеся за это в дальнейшем своей жизнью), неоднократно пытались доказать Голощекину и его многочисленным ставленникам, что все эти акции закончатся крахом экономики аула и деревни. Однако авторов «архиглупых хлебофуражных и скотозаготовительных балансов» (по выражению Голощекина) мало кто слушал, ограничиваясь заведением на ослушников партийных досье. Руководство края апеллировало к другим «по-большевистски научно выверенным балансам». В соответствии с ними числен-

¹ Казахстан за 50 лет // Статистический сборник. – Алма-Ата: Статистика, Казотдел, 1971. С. 82–63.

ность скота в республике в 1932/33 гг. должна была достигнуть 53 381 тыс. голов. Однако «планов громадье», как писал о первой пятилетке В. Маяковский, не сбылось: вместо желаемой динамики получили беспрецедентный в истории Казахстана кризис животноводческой отрасли.

Абсолютная масса хозяйств оказалась лишенной скота. В этой связи характерны данные по Южному Казахстану. Так, на первую половину 1934 г. в Тюлькубасском районе 99,8 % колхозников и 93,4 % единоличников не имели ни одной лошади, 74,9 и 82,1 % были без коров, в Чаыновском районе на 100 хозяйств колхозников приходилось лишь 36 голов крупного рогатого скота (у единоличников – 7), 28 лошадей (22), 163 овцы (24), в Сузакском районе соответственно 23 коровы (2), 29 лошадей (11), 444 овцы (у единоличников – 89). Таким образом, коллективизация нанесла последний удар по сельской экономике, окончательно разрушив как производительные силы аула, так и их функциональные структуры.

В статье с претенциозным названием «Год великого перелома», опубликованной в газете «Правда» в 1929 г., Сталин с наигранным оптимизмом предрекал: «...Если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом, то нет оснований сомневаться в том, что наша страна через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных, если не самой хлебной страной в мире»¹. Прошло три года. Темпы коллективизации обрели сверхдинамичный характер. Однако вместо обещанного Сталиным хлебного изобилия страна получила массовый голод населения.

Голод или социально-классовый геноцид

В советской историографии массовый голод начала 1930-х годов был жестко табуированной темой. Власть пыталась вытравить из памяти народа эту трагедию. Она стала публично обсуждаться только в конце 1980-х гг. в рамках горбачевского

¹ *Сталин*. Сочинения. Т. 12. С. 132.

лозунга «гласности». Но особенно интенсивно эта проблема стала освещаться с крахом советского режима и обретением Казахстана независимости. Именно тогда начали рассекречиваться многие закрытые до этого архивы, материалы так называемой «расстрелянной переписи» (перепись населения 1937 года выявила катастрофическую убыль народонаселения, а потому ее материалы не публиковались и были наглухо замурованы в секретных архивах, разработчики переписи были уничтожены, а новая перепись населения 1939 г. сфальсифицирована). Тем не менее во многих доступных ныне материалах наблюдается разночтение в цифрах, большая статистическая погрешность и т. п. Другого трудно было и ожидать, ведь, как вспоминают очевидцы того времени, на улицах городов (Алматы, Семипалатинска, Фрунзе и др.), железнодорожных станциях, вокруг «великих сталинских индустриальных строек» лежали трупы умерших от голода людей. Их грузили на телеги, вывозили куда-то и без всякой регистрации штабелями закапывали в общей могиле, численность погибших очень часто определяли приблизительно, «на глазок» (во многих отчетах можно прочесть, что на такой-то станции «примерно» столько-то трупов, в таком-то районе от голода погибло «приблизительно» столько-то людей и т. п.).

Современные исследователи определяют численность жертв голода в интервале от 1 млн 300 тыс. до 2 млн человек. Однако дискурс по этому вопросу продолжается, и он не утратил своей исследовательской актуальности. Но как бы то ни было, совершенно ясно – массовый голод начала 1930-х годов по своим масштабам был беспрецедентным в истории казахского народа. И воспоминания о нем будут вечно кровоточить в народной памяти.

Более или менее исследователи единодушны в вопросе о численности откочевавших в это время за пределы Казахстана: более 1 млн человек, из них более 600 тыс. безвозвратно. Не случайно в апреле 1933 г. секретарь Казкрайкома ВКП(б), Л. Мирзоян, как бы подводя трагические итоги деятельности

в Казахстане своего предшественника Голощекина и, по-видимому, наивно полагая, что Сталин не ведает о масштабах бедственного положения казахского населения, писал ему и Молотову: «По нашим данным откочевками затронут 71 район, из них 50 кочевых и полукочевых и 21 оседло-земледельческих. Особенно поражены откочевками районы Южной области, Алма-Атинской области, южная часть Карагандинской области, западная часть Восточной области и южная часть Актюбинской области и несколько районов Западной области [...] По всем областям находится в состоянии откочевки (за исключением, кто вне пределов республики), т. е. снялись со своих мест (*спасаясь от голода – авт.*) и двинулись в другие районные центры [...] примерно 90 тыс. хозяйств с общим количеством населения 300 тыс. душ [...] В Аулие-Ате 12 тыс. откочевников, Туркестане – 8 тыс., Кзыл-Орде – 6 тыс., Петропавловске – 12 тыс. Балхашстрое – 2 тыс., Караганде – 2 тыс.»¹.

Откровенно репрессивный характер антикрестьянской политики сталинского режима нашел свое концентрированное выражение в тех мерах, которые разворачивались в рамках государственного курса на ликвидацию кулачества и байства как класса.

Чтобы придать задуманному социально-классовому геноциду большевистский «*ordnung*» и планомерность, обреченные на уничтожение жертвы делились на три категории. Первая категория (так называемый «контрреволюционный актив», организаторы восстаний и терактов) означала заключение в концлагеря или расстрел. Вторая (наиболее богатые кулаки) – ссылку в отдаленные и малообжитые районы СССР. И, наконец, третья категория (остальная часть так называемых кулацких хозяйств) предусматривала расселение в границах района проживания, но за пределами колхозных массивов (поскольку колхозное «море разлитое» по мере форсирования коллективизации затопливало все новые и новые территории, «запредельное по

¹ Архив Президента Республики Казахстан (АП РК). Ф. 141. Оп. 1. Д. 5827. Л. 33–34.

отношению к колхозным массивам» пространство вскоре стало локализоваться в необжитых регионах страны, и третья категория практически слилась со второй).

Количество подлежащих раскулачиванию крестьянских хозяйств определялось в пределах 3–5 % от их общего числа. Между тем, по данным ЦСУ СССР на 1929 г., доля кулацких дворов была чуть больше 2 %. Следовательно, предусматривался люфт в 3 %, который должны были заполнить 600–700 тыс. трудовых семейных хозяйств (т. е. примерно 3,5–5 млн человек).

Ликвидаторские акции планировались настолько изощренно, что уже заранее устанавливались даже конкретные цифры крестьянских семей, попадавших в ту или иную категорию. В терминах высшей партийной директивы это называлось разбивкой на «ограничительные контингенты», хотя в гораздо большей степени последним подходило определение «расширительные», ибо их санкционированная численность открывала простор для развертывания беспрецедентных репрессий.

В первую категорию предписывалось включить 150 тыс. семей, во вторую – 60 тыс. Согласно логике документа, выходило, что «мозг партии» силою неведомого немарксистам ясновидения уже знал, что в предстоящие отчетные годы в СССР окажется именно столько крестьянских антигероев контрреволюции, теракта и колхозного саботажа, а следовательно, столько же кандидатов на расстрельные стенки, концлагеря и суровые таежно-степные *terra incognita*. Однако это было далеко не абсурдом или плодом воспаленного воображения. Здесь присутствовала продуманная в деталях установка на искоренение массовой крестьянской оппозиции, которая оказалась между молотом и наковальней: коллективизацией и раскулачиванием.

Названным постановлением устанавливались директивные задания и для Казахстана. Для первой категории давалась разрядка 5–6 тыс. семей, для второй – 10–15 тыс.

Приговоры по делам лиц первой категории выносились списочным порядком на внесудебных заседаниях так называ-

емых «троек», в состав которых входили первые руководители партийных органов, ОГПУ и прокуратуры. Вторая группа отдавалась на «откуп» общим колхозным собраниям с участием бедняков и батраков, но все списки утверждались местными органами. Акцию планировалось провести в течение февраля – мая 1930 г. Ее оперативное обеспечение осуществлялось ОГПУ.

2 февраля ОГПУ разослало своим структурам директиву с требованием начать немедленные операции по изъятию и ликвидации «контрреволюционной агентуры», «активнодействующих кулацких элементов первой категории». Почти тут же в Казахстане было арестовано 3113 человек. Вслед за этим начались массовые выселения. Уже к началу мая 1930 г. на внутрикраевое расселение была выслана 1421 семья, или 7535 человек.

Во второй половине марта 1931 г. Голощекин посылает телеграмму в Центр с просьбой разрешить выселить за пределы Казахстана 1500 хозяйств из пограничных и хлопковых районов. Но поскольку территория республики сама выступала местом «кулацкой ссылки», Крайкому и Полномочному представительству ОГПУ было рекомендовано найти «возможности переселения внутри края».

20 июля 1931 г. Политбюро ЦК ВКП(б) констатировало на своем заседании, что массовая депортация кулацких хозяйств в основном закончена, и дальнейшее выселение рекомендовалось проводить в индивидуальном порядке. В действительности порядок этот измерялся десятками тысяч новых жертв.

Так, на этом же заседании Казахстану дали добро на выселение кулаков и баев. В связи с этим ОГПУ вменялось установить количество, сроки и места высылки. Такая работа вскоре была проведена, и 30 августа Политбюро санкционирует внутрикраевые выселения 5000 хозяйств.

Таким образом, массовые аресты, заключения в концлагеря и выселения продолжались в 1930 и 1931 годах. По данным Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, за этот период депортациям только в пределах Казахстана были подвергнуты

6765 хозяйств. В сводку вошли хозяйства лишь первой и второй категорий, т. е. высылаемые на спецпоселения. Что касается хозяйств третьей группы, изгоняемых за границы колхозных массивов, то их статистику органы ОГПУ, по-видимому, особо даже и не отслеживали (они путались и с первыми двумя категориями, давая очень противоречивые данные). Но нетрудно представить, что их численность была огромна.

Осуществлялось выселение и за пределы республики. По имеющимся данным (требующим еще уточнения), в 1931 г. из Казахстана было вывезено 5500 семей. Можно предположить, что в 1930 и 1931 гг. в Казахстане было раскулачено 12 265 хозяйств, т. е. на муки изгнания были обречены не менее 60–70 тыс. человек, в том числе стариков, детей и женщин. Для многих из них ссылка обернулась смертью.

Немыслимо даже сомневаться в том, что спущенные сверху контрольные цифры не были тут же выполнены. Вспомним еще раз сталинскую фразу: «наши планы есть не планы-прогнозы, не планы-догадки, а планы-директивы». Тем более, что реализатором этих планов выступал Голощекин, отнюдь не случайно введенный в состав комиссий Политбюро ЦК ВКП(б) и по коллективизации, и по раскулачиванию. Из этого следует, что никак не менее 6 тыс. хозяйств Казахстана было репрессировано по первой категории и 15 тыс. – по второй.

Знаем мы также, что «ограничительные контингенты» многократно перекрывались. Это признавало само руководство. В постановлении ЦК ВКП(б) от 14 марта 1930 г. «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении» констатировалось, что «... в некоторых районах процент раскулаченных доходит до 15, а процент лишенных избирательных прав – до 15–20» (напомним, что согласно директиве ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. раскулачиванию подлежало 3–5 % всех хозяйств).

Подконвойные эшелоны, до отказа набитые несчастными жертвами «классовой борьбы», нескончаемо двигались навстречу друг другу. Одни увозили из Казахстана крестьян, обреченных каторжно надрываться в горных штольнях Кольского

полуострова, на приисках Колымы и лесоповалах Сибири, другие – разгрузались среди голых казахских степей.

Наряду с районами Севера, Урала и Сибири территория Казахстана была определена местом «кулацкой ссылки» для многих десятков тысяч крестьян из других районов страны. Согласно приказу ОГПУ (от 2 февраля 1930 г.) первоначально в необжитые районы республики предполагалось выслать 5 тыс. хозяйств с Северного Кавказа. Но вскоре выяснилось, что краевые органы не готовы расселить такое количество людей. ОГПУ разработало план по выселению более 50 тыс. семей в Северный край и на Урал (173). Ознакомившись с ним, Сталин наложил резолюцию: «Казахстан и Сибирь как районы выселения отсутствуют. Надо их включить»¹.

Если на 6 июля 1931 г. в Казахстан было выслано 80 семей (281 человек) из Средней Азии, то уже на 1 сентября 1932 г. на учете комендатур здесь состояла 46 091 семья, или 180 015 спецпоселенцев. Это были крестьяне с Нижней и Средней Волги, из Центрально-Черноземной и Московской областей, Северокавказского края и Средней Азии.

В советской историографии восшествие крестьян на каторжную Голгофу «кулацкой ссылки» лицемерно обозначалось как «трудовое перевоспитание». Так, в одной из многочисленных работ, дающих «отпор буржуазным фальсификаторам истории», с огромным пафосом писалось буквально следующее: «Шаг за шагом Советское государство в труде перевоспитывало бывших эксплуататоров-кулаков, превращая их в тружеников социалистического общества. Опыт нашей страны дал образец решения труднейшей социальной задачи – коренной перделки экономики, сознания, психологии, быта бывших эксплуататоров-кулаков, включения их в социалистическое строительство»².

¹ *Ивницкий Н.А.* Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). – Москва: Интерпракс, 1994. С. 123–124.

² *Гущин Н.Я., Жданов В.А.* Критика буржуазных концепций истории советской деревни Сибири. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1977. С. 175.

По поводу опыта вряд ли можно спорить, ибо он стал действительно образцом для многих диктаторских режимов, в том числе для Мао и «красных кхмеров» Пол Пота. Что касается воспитательного эффекта, то тут можно усматривать только гримасу, поскольку на «трудовое перевоспитание» в спецпоселения выдворялись наиболее предприимчивые, опытные и старательные работники, построившие свое хозяйство изнурительным, продолжавшимся из года в год трудом, олицетворявшие собой, что называется, «крестьянскую косточку».

В известной в советское время монографии «Ликвидация эксплуататорских классов в СССР» пишется: «Советское государство взяло на себя огромные расходы, связанные с трудоустройством и жизнеобеспечением переселенцев. Затраты на переселенцев значительно превзошли стоимость экспропрированного у них имущества»¹. Сразу отметим, что в последнее верится с трудом, поскольку, во-первых, по неполным данным Наркомфина СССР, только к лету 1930 г. стоимость конфискованного у «раскулаченных» имущества оценивалась по стране в размере 180 млн руб. Во-вторых, по понятным причинам, никто в советской историографии не считал колоссальные объемы почти бесплатного труда раскулаченных на стройках «великой сталинской индустриализации».

Рабочая сила для карагандинского угля

В феврале 1931 г. Политбюро ЦК ВКП(б) специально рассматривало вопрос о выселении раскулаченных. В связи с этим ОГПУ была дана директива провести в течение полугода операции по подготовке районов «для устройства кулацких поселков тысяч на 200–300 семейств под управлением специально назначенных комендантов, имея в виду прежде всего районы Казахстана – южнее Караганды». Цель понятна – обеспечение дешевой рабочей силой Карагандинского угольного бассейна.

¹ *Трифонов И.Я.* Ликвидация эксплуататорских классов в СССР. – Москва: Политиздат, 1975. С. 382.

В пределах Карагандинского угольного бассейна было возвращено 30 таких поселений – около трети из ста подконтрольных спецкомендатурам поселков, размещенных в Казахстане. Изначально эти сталинские социально-классовые гетто представляли собой скопище вырытых прямо в степи чуть ли не голыми руками «волчьих ям» размером 2×2 м (чем не готовая могила?), накрытых сверху какой-либо дерюгой, мешковиной или дерном. Это только позже стали сооружаться продуваемые степными буранами, насквозь промерзающие в холодное время деревянные бараки.

Конечно, тяжесть изнурительных «индустриальных» физических работ, характер которых тогда отнюдь недалеко ушел от способов труда средневековых угледобытчиков и рудокопов (та же мускульная сила человека и прилагаемые к ней кирка или кайло, лопата и тачка), испытывали все. Но, в отличие от спецпереселенцев, они, хотя и также существовали на грани выживания, все же имели относительно более терпимые житейско-бытовые условия и уж конечно не находились, подобно раскулаченным, в положении изгоев, подавленных общественным моральным террором, ежедневно подпитываемым пропагандой.

Вот только одно из подобных и многочисленных воспоминаний об условиях труда раскулаченных на шахтах Караганды. И. Тимаков: «...Я был молод, со мной жена и маленький ребенок. Мы выкопали ямку в метр глубиной, попончиками крышу закрыли. Наш младенец прожил в этой яме месяц и умер. В 31-м, в 32-м году погибли все дети и старики, и к 33-му году осталась одна молодежь, редко где старика увидишь. Умирало в день по 200 человек. Три бригады могилы копали 2 метра ширины, пять метров длины. Зимой могилы копать не успевали. Покойников складывали в кучи величиной с дом, по 500–700 человек в каждой куче лежало, как дрова. Я работал на Кировской шахте за 8 км. И каждый день по степи туда и обратно. Работаешь в шахте – грунтовые воды, как дождь, льют с потолка. Выйдешь из шахты – весь мокрый, в галошах вода,

портянки мокрые, только фуфайку сухую оденешь и бежишь в поселок по тридцатиградусному морозу. Пока прибежишь – одежда примерзнет к телу. Шахтеры шли с работы и замертво падали. И всю зиму на дороге лежали. Бывало, в пургу дороги не видно, а мертвецы вместо вешек в степи. Их весной на телеги собирали...»¹.

В начале 1934 г. на предприятиях «Карагандауголь» работали 10 397 человек, из них – 5525 человек являлись спецпереселенцами. К середине 1938 г. в Карагандинской области проживало 91 297 раскулаченных, из них 19 115 человек трудились на объектах угольной промышленности. Следовательно, самый значительный контингент рабочей силы «третьей всесоюзной кочегарки» формировался за счет спепереселенцев. Кроме того, они работали на казахстанских предприятиях системы Наркомтяжпрома (16 822 человек), Цветметзолота, строительстве дорожных трасс (трудом исключительно спецпереселенцев было проложено около 170 км грунтовых дорог) и железных дорог (например, на прокладку железной дороги Акмолинск – Караганда были брошены 2567 человек уже с самых первых этапов раскулаченных) и т. д. Это и была система «трудового перевоспитания бывших эксплуататоров деревни», выстроенная Сталиным и его огэпэушными и энкавэдэшными опричниками.

Депортированные в «кулацкую ссылку» крестьяне стали гигантским резервом промышленной рабочей силы. На начало 1932 г. в Казахстане на учете спецкомендатур состояло 186 тыс. так называемых спецпереселенцев (согласно по-иезуитски лицемерной терминологии ГУЛАГа, именно так стали именоваться раскулаченные крестьяне; если убрать приставку «спец», то можно было подумать, что речь идет о неких вольных колонистах, романтиках-авантюристах, пустившихся осваивать неведомые территории). На 1 января 1933 г. их численность определялась здесь в 140 383 человек, на 1 января 1938 г. – 134 655 человек и на то же время 1940 г. – 137 043 человек.

¹ *Мастеров С.* Раскулаченные // www.proza.ru

В идиллических тонах расцветивался в советской историографии и быт раскулаченных, в одной из таких насквозь лживых работ писалось, что «бывшие кулаки и их семьи получили все необходимые условия для обеспеченной и культурной жизни», в спецпоселках были выстроены клубы, где раскулаченные занимались художественной самодеятельностью, играли в шахматы и прочее. В самом ли деле жизнь спецпереселенцев была не так уж трагична и протекала в общем-то вполне нормально? Достоверные рассказы об этом применительно к Казахстану сегодня есть – благодаря воспоминаниям раскулаченных, выживших членов их семей, а также их потомков, сохранивших в своей памяти семейные истории. Но одним из первых, кто долго и самоотверженно изучал историю карагандинских спецпереселенцев, записал в результате кропотливого поиска огромный свидетельский материал и опубликовал его, подчеркнем это особо, еще в советское время в газете «Индустриальная Караганда» (29 апреля 1989 г.), был Д.Т. Чиров. Прочитируем только несколько выдержек из воспоминаний карагандинских переселенцев, записанных Д.Т. Чировым в то время.

Из воспоминаний М.В. Копейкиной: «Родилась я в 1925 г. в селе Родник Рассказовского района Тамбовской области... В 1930 г. началась коллективизация... Отца моего и дядю забрали в тюрьму. А меня, пятилетнюю, и братишку, которому было три с половиной года, посадили в телегу и повезли на станцию Платоновка... Привезли нас на станцию, а там народу – тьма. Отцов наших отпустили на соединение с семьями, охрану не сняли, и все мы чувствовали себя под арестом...

Погрузили нас в телячьи вагоны, двери закрыли снаружи на засов, так что не убежишь. В вагоне параша, одна на всех – и на мужчин и на женщин. Словом, везли нас как преступников-заключенных. Везли нас долго, а привезли в голую степь, выгрузиться приказали на том месте, где нынче поселок Компанейский. Было это в сентябре 1931 г., и степь, где мы выгрузились, уже пожелтела. Стали сооружать самодель-

ные палатки: выкапывали ямы глубиной примерно в полметра, укрепляли над ними жердочки и набрасывали рядна-половики или домодельные одеяла. А вместо кровати мы использовали деревянную борону, которую почему-то привезли с собой.

А поблизости даже воды не было, так что за водой людям приходилось ходить чуть ли не за 20 километров. Чем нас кормили? Первые дни вообще ничего не давали, а потом стали привозить муку и выдавать по кружке на человека. А людей навезли много, шалашей и землянок настроили огромное множество. И люди стали от голода и болезней умирать. Болели дизентерией и тифом. Мне было тогда восемь лет, но я помню, как обессиленные взрослые, голодные и больные, не в силах были своих родственников похоронить, и умерших подбирали похоронщики и свозили их в общую яму. Очень много тогда народу поумирало, особенно малых детей и стариков. Помню, как строили дома-баракы из дерна. А вселили нас в эти дома уже в начале зимы. И понатерпелись мы в ту первую зиму и от голода, и от холода... А летом открыли детплощадку, и мы с братишкой ходили туда обедать, давали нам по кусочку хлеба и по тарелке красного свекольного супа, который есть было невозможно, хотя и были мы очень голодными. Помню, идем с братишкой с этой самой детплощадки, а он плачет, есть просит, а где ему взять-то поесть? А братишка плачет, и я вместе с ним плачу...».

Прасковья Михайловна Горбунова: «Летом 1931 г. у меня умерла дочка, прожив всего годик, тогда же погибли от дизентерии почти все дети до пяти-шестилетнего возраста».

Прасковья Михайловна Украинская: «У меня умерли мама и десятилетний братик. Мне было тогда семь лет. Поселили нас в Осакаровке, в баракы без крыш, в каждый по 70-80 человек. К весне 1932 г. выжило по 5-6 человек из барака».

Василий Михайлович Судейкин: «Когда нас в декабре 1932 года привезли с Кубани в Девятый поселок, в нашей семье было шесть человек. К концу лета 1933 г. в живых остался я один».

Приведенные выше свидетельства подтверждаются и данными ОГПУ, которые сообщают, что только в 1932 и 1933 гг. на

казахстанских спецпоселениях умерли 55 441 человек. В 1933 г. в «кулацкой ссылке» в Северном Казахстане умерло больше человек, чем родилось, в 19 раз, а в Южном – в 13 раз¹. В этом и была правда социально-классового геноцида.

Об авторе

Абылхожин Жулдузбек Бекмухамедович родился в 1951 году в Алма-Ате. В 1976 г. закончил исторический факультет Казахского педагогического института им. Абая (ныне КазНПУ). С этого же года начал работать в Институте истории, этнографии и археологии им. Ч. Валиханова Академии наук КазССР. Последовательно прошел все должности: от старшего лаборанта до главного научного сотрудника Института. В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1991 г. диссертацию на соискание научной степени доктора исторических наук. С 1985 г. занимается педагогической деятельностью – преподавал дисциплину «История Казахстана» в ряде ведущих вузов Алматы.

Автор и соавтор 12 научных монографий, участвовал в написании ряда разделов пятитомного фундаментального академического издания «История Казахстана», многих учебников и учебных пособий. Автор более 150 научных статей, опубликованных в том числе в зарубежных изданиях (Швеция, Италия, Франция, США, Япония, Германия, Турция, Россия). Выступал с гостевыми лекциями в университетах Франции, Англии, Японии. Область научных интересов: История Казахстана в XX веке.

Литература

Архив Президента Республики Казахстан (АП РК). Ф. 141. Оп. 1. Д. 5827. Л. 33–34.

Большевик Казахстана, 1931, № 11.

Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. – Москва: Политиздат, 1989.

Весь Казахстан. – Алма-Ата, 1931.

¹ *Земсков В.Н.* Кулацкая ссылка // Социологические исследования, 1992, № 2. С. 3–26.

Гущин Н.Я., Жданов В.А. Критика буржуазных концепций истории советской деревни Сибири. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1977.

Земсков В.Н. Кулацкая ссылка // Социологические исследования, 1992, № 2. С. 3–26.

Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). – Москва: Интерпракс, 1994.

Казахстан за 50 лет // Статистический сборник. – Алма-Ата: Статистика, Каз. отдел, 1971.

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 36. – Москва: Издательство политической литературы, 1969.

Мастеров С. Раскулаченные // www.proza.ru

Народное хозяйство Казахстана, 1930, № 5–6.

Сталин И.В. Вопросы ленинизма. – Москва: Партиздат, 1933.

Сталин И.В. Сочинения. Т. 2. С. 11–12. – Москва: Государственное издательство политической литературы, 1951.

Трифонов И.Я. Ликвидация эксплуататорских классов в СССР. – Москва: Политиздат, 1975.

Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (УК РСФСР). – Москва, 1932.

Центральный Государственный Архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 5. Оп. 21. Д. 39. Л. 25–26.

Швецов С.П. Природа и быт Казахстана: Казахское хозяйство в его естественно-исторических и бытовых условиях. – Ленинград, 1926.

VI Пленум Казкрайкома ВКП (б). – Алма-Ата, 1930.

VII Всеказахский съезд Советов. 8–15 января 1929 г.: Стенографический отчет и постановления. – Алма-Ата, 1930.

XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большеви-ков): Стенографический отчет. – Москва, Ленинград: Госиздат, 1930.

Зауреш Сактаганова

**Сюжет из истории Академии наук
Казахской ССР в начале 1950-х годов,
или История одного «письма»
в ЦК ВКП(б) (по материалам РГАСПИ)**

Огромный интерес исследователей вызывает история сталинских репрессий; время, когда был уничтожен огромный пласт национальной элиты – творческой, научной, партийно-хозяйственной и т. д. И среди тысяч трагических историй репрессированных представителей национальной интеллигенции есть судьбы людей, которые попали под пресс сталинской тоталитарной машины, но она не уничтожила их. Такой фигурой был президент Академии наук Казахской ССР Каныш Имантаевич Сатпаев.

За последнее десятилетие опубликовано множество интересных документальных материалов из архивов, проливающих свет на ряд сюжетов, которые были закрыты как для ученых-историков, так и для широкой общественности. Но процесс «проявления негативов» долгий, требующий внимательного и, главное, беспристрастного изучения. В своей работе «Апология истории или ремесло историка» Марк Блок пишет, рассуждая о роли истории и историка: «Дурно истолкованная история, если не остеречься, может, в конце концов, возбудить недоверие и к истории, лучше понятой. Но если нам суждено до этого дойти, это совершится ценою глубокого разрыва с нашими самыми устойчивыми интеллектуальными традициями. В настоящее время мы в этом смысле находимся пока лишь на стадии «экзамена совести». Всякий раз, когда наши сложившиеся общества, переживая беспрерывный кризис роста, начинают сомневаться

в себе, они спрашивают себя, правы ли они были, вопрошая прошлое, и правильно ли они его вопрошали»¹.

Рассуждения такого рода овладевают любым мыслящим историком: правильно ли он «вопрошает прошлое» и нужно ли возвращаться к нему так скрупулезно? Речь идет не только о создании более полной картины прошлого, о представлении всей палитры событий. Речь идет и об ответственности историка перед своим и будущими поколениями за собственные действия. И этот ответ рано или поздно придется держать. Именно об этом (об ответственности историка) пойдет речь в статье.

Обращаясь к первому послевоенному десятилетию, пожалуй, следует кратко остановиться на характеристике общественно-политической ситуации в стране. В первый же послевоенный год началась волна репрессий научной и творческой элиты республики. Причины её уже не раз рассматривались в исторической литературе, но позволим себе остановиться на них более подробно.

Победа СССР в Великой Отечественной войне привела в состоянии эйфории все советское общество: ожидание перемен, надежды на эти перемены, казалось, имели основания быть. В годы войны режим «позволил» определенные послабления и в духовной, религиозной, интеллектуальной жизни, и в некоторых других сферах социальной, политической жизни. Нельзя не согласиться с мнением исследователя Н. Верта, что «если в экономической области война привела к ограничению волюнтаристской практики, то в идейно-политической сфере она вызвала ослабление надзора, увеличила число неконтролируемых идейных движений, особенно среди тех, кто в течение нескольких лет находился за пределами системы (в оккупированных районах или в плену), в национальной среде и интеллигенции. С возвращением к мирной жизни власти по-

¹ *Блок М.* Апология истории или ремесло историка, изд. второе, дополненное. – М.: Наука, 1986. С. 3.

пытались, действуя чаще всего жестко, восстановить контроль над умами»¹. Надежды советского общества на либерализацию общественно-политической жизни не оправдались.

Ужесточение режима в послевоенный период многие исследователи связывают с двумя причинами: с маниакальной подозрительностью И. Сталина и началом холодной войны. Начало этой войне положила речь Черчилля, произнесенная весной 1946 г. в Фултоне, в которой была предложена идея создания союза англосаксонских стран для борьбы с коммунизмом. В СССР была объявлена борьба с новыми опасностями для режима. Главной внешней опасностью был объявлен «англо-американский империализм», а внутренней – «низкопоклонство перед Западом»². Это первое направление в идеологии и внутренней политике послевоенного сталинизма.

14 мая 1947 года И. Сталин на встрече с писателями говорит (записано К. Симоновым): «Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Эта традиция отсталая, она идет еще от Петра. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами... В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать... Надо бороться с духом самоуничужения у многих наших интеллигентов»³.

¹ *Верт Н.* История советского государства. 1900–1991. пер. с фр. – М.: Прогресс, 1992. С. 208.

² *Гринберг И. Э.* Идеологические кампании в послевоенном СССР и их последствия для Казахстана // Казахстан: послевоенное общество 1946–1953 гг. Материалы Международной научно-практической конференции. – Алматы, 2012, 20 апреля. С. 4.

³ Высказывание Сталина о преклонении перед иностранцами, 2012, 15 августа [Электронный ресурс] // <https://politikus.ru/articles/1930-vyskazyvanie-stalina-o-prekloenii-pered-inostrancami.html>

Вторая тенденция в общественно-политической жизни определяла партийную линию: Н. Верт называет данную политику «одергивание национальностей»¹. Он пишет, что политика репрессий против некоторых национальностей и отказ от удовлетворения их национальных чаяний были продолжены в «речи Победы», произнесенной Сталиным, в которой он поднимал тост не за советский, а за русский народ, назвав его признанным вождем, наиболее «выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза»². Речь Сталина 24 мая 1945 года означала отказ от прежней концепции («русский народ как первый среди равных»). Сталин вернулся к идеям, которые он отстаивал в 1922 г. в своем проекте автономизации, выступив против федеративного принципа госстроительства. Эта концепция (об исключительно прогрессивном характере присоединения) привела во второй половине 1940-х годов к ревизии истории присоединения национальных окраин к Российской империи. Историкам настоятельно рекомендовали «показывать действительно прогрессивный аспект исторического вклада русского народа в развитие человечества». Иной взгляд на национальную историю стал невозможен. Следствием этой политики стали ограничения в изучении национальной культуры, как материальной, так и духовной. Представители интеллигенции, чьи научные или творческие интересы оказались в данной сфере, попали под пресс репрессивного механизма. Поэтому борьба с «национализмом» (так же как в 1920–1930-е годы с «национал-уклонизмом») становится одной из приоритетных задач партии.

Одновременно с «одергиванием» нерусских народов в 1946 году была развернута кампания по восстановлению несколько ослабленного во время войны контроля за интеллектуальной жизнью страны. Надежды интеллигенции на то, что тенденции, наметившиеся в годы войны, получат дальнейшее развитие и в мирное время, были быстро развеяны. Летом 1946

¹ Верт, 1992. С. 208.

² Там же. С. 209.

года власти развернули широкое наступление против любого проявления интеллектуального творчества. Н. Верт называет основную причину, по которой интеллигенция «прибиралась к рукам»: тяжелый экономический кризис лета 1946 года, снова приведший к голоду, подтолкнул власти к решению заставить интеллигенцию молчать. Он отмечает: «...голод неизменно восстанавливал гражданское сознание образованных кругов против властей, и критика со стороны интеллигенции неизбежно перешла бы на экономическую политику правительства...»¹. И, безусловно, критика распространилась бы на всю систему в целом.

Для борьбы с этими «вредными» тенденциями с 1946 года принимается ряд партийных постановлений: постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград»; от 26 августа 1946 года «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению»; от 4 сентября 1946 года «О кинофильме «Большая жизнь»»; от 10 февраля 1948 года «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели». С 1946 года начинается новый этап репрессий против интеллигенции в СССР (и в Казахской ССР в частности).

Работая в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) с делами из фонда 17 (ЦК КПСС), автор изучил дело № 335, начатое в 1950 году, которое называлось «Записки и справки отдела и сектора науки по докладным запискам, ... фактах проявления национализма в Академии наук и научных учреждениях Казахской ССР»². Часть документов из этого дела были опубликованы в документальном сборнике «Академик К.И. Сатпаев» (составители Б.Т. Жанаев и др.), изданном по программе Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК в 2009 году³.

¹ Верт, 1992. С. 211.

² Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 132. Д. 335.

³ Академик К.И. Сатпаев: Сборник документов и материалов / сост.: Б.Т. Жанаев (отв.), Н.П. Кропивницкий и др. – Астана: 1С-Сервис, 2009.

Но не все документы привлекли внимание составителей. Анализ событий, связанных с новой волной репрессий начала 1950-х годов, вызывает ряд вопросов, на которые пока нет исчерпывающих ответов. Что же вызвало тотальную проверку деятельности Академии наук КССР в начале 1950-х? Ведь в данный период шел процесс становления и развития науки в республике, причем это подтверждалось крупными достижениями ученых Казахстана. Кто инициирует эти проверки? Хрестоматийный ответ, как отмечалось выше, содержится практически во всех исследованиях по истории сталинского послевоенного десятилетия: приняты ряд постановлений ЦК ВКП(б) и следом сразу же постановления и решения ЦК КП(б) Казахстана 1947 года («О грубых политических ошибках в работе Института языка и литературы АН КазССР»; «О подборе, расстановке и использовании научных кадров в Академии наук КазССР»).

После 1947 года президент Академии наук КССР пишет ряд докладных записок, отчетов, писем, отстаивая позиции академической науки республики. В этих записках К.И. Сатпаев говорит о результатах деятельности Академии наук КССР, о ее становлении: если в 1941 году Казахский филиал АН СССР располагал 100 научными сотрудниками, из которых 14 – с ученой степенью кандидатов, 3 – докторов наук, то к 1947 году кадры АН КССР составили 1580 человек (включая филиалы), среди которых работало 83 доктора и 220 кандидатов наук. Причем К. Сатпаев уделяет огромное внимание росту научных национальных кадров, к 1950 году среди сотрудников академии – 24,9 % казахи с учеными степенями¹. Но достижения и заслуги не защитили от огульного обвинения даже президента АН КССР.

Все эти постановления ЦК КП(б)К дали «старт широкомасштабной кампании против интеллигенции». В исследованиях подчеркивается, что отличительной чертой послевоенных реп-

¹ Академик К.И. Сатпаев. С. 370–381.

рессий является «явная персонификация политических обвинений»¹. Следует отметить, что и в довоенный период объектами преследований становились выдающиеся деятели науки и культуры, но репрессии в 1920–1930-е годы, действительно, носили более массовый характер. А «персонификация политических обвинений» имеет простое объяснение – перенос акцентов внимания на определенные личности был связан еще и с доносами земляков, соседей, коллег, недругов и просто завистников. Доносы появляются как следствие политики: власть ждала и провоцировала эти доносы, потому они и появлялись, потому на них и «реагировали», точнее, власть на них живо «откликнулась». Значимую роль в рождении партийных директив сыграли именно такие доносы. В партийных недрах в период многочисленных чисток у партийных масс (и не только партийных) формировался простой алгоритм действий: признал, покаялся, простили. Это называлось «самокритикой». Но «истинный большевик» должен был уметь признавать критику и еще был обязан критиковать своих товарищей. Эти «обязанности и права» фиксировались как в Уставе, так и в отдельных постановлениях. «Критика» принимала различные формы: устные выступления на партийных собраниях или письма в вышестоящие органы, попросту говоря, доносы. У государства была своя прерогатива: критиковать на страницах периодической печати, а это уже однозначно было чревато оргвыводами². Не снимая ответственности со сталинской репрессивной системы, не оправдывая ее, считаем необходимым отметить, что при изучении репрессий упускается это немаловажное обстоятельство в сложных коллизиях репрессивной политики. И эту проблему, как правило, исследователи в своих публикациях обходят молчанием. Мы уверены, если бы в Казахстане не было такого потока писем-доносов, судьбы хотя

¹ История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В пяти томах. – Алматы: Атамура, 2009. Т. 4. С. 550.

² Политические репрессии в Казахстане в 1937–1938 гг.: Сборник документов. – Алматы: Қазақстан, 1998. С. 5–9.

бы нескольких десятков или сотен людей имели бы иной исход, не столь трагичный. Об ответственности этих сикофантов перед историей, перед памятью погибших, оказавшихся в застенках ГУЛАГа людей, на наш взгляд, нужно говорить. Отрадно, что хотя бы в одном из крупнейших репрессивных дел этого периода – «бекмахановской эпопее» – названы имена «антигероев» (Х. Айдарова, Т. Шоинбаев, А. Якунин и др.).

Четко обозначенную оценку роли этих историков и последствий их публикации в «деле Бекмаханова» дает академик М.К. Козыбаев, называя их «роковыми» для исторической науки Казахстана¹. В своей статье М.К. Козыбаев отмечает: «пользуясь удобным случаем, завистники и недруги развязали клеветническую кампанию, в самые высокие инстанции посыпались доносы с обвинениями в отношении К.И. Сатпаева». Не фиксируя внимания на мотивах доносительства (это тема отдельного исследования), попытаемся проанализировать эти документы (письма, записки и др.) и выяснить, как они способствовали активизации партийных проверок и, как следствию этих проверок и директив, репрессиям.

В докладной записке инструкторов отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) П. Апостолова, Б. Митрейкина и А. Петровского от 22 (29) июня 1950 года проверяющие пишут, что им «было поручено проверить факты, изложенные в заявлениях т.т. Черниченко и Шоинбаева. Авторы заявлений сообщают о националистических проявлениях в области науки и культуры в Казахстане, нарушении большевистского принципа в подборе и расстановке кадров в Академии наук Казахской ССР и зажиме критики»².

Но в документальном сборнике «Академик К.И. Сатпаев» нет этих заявлений, вызвавших проверки Академии наук КССР и К. Сатпаева из различных структур (от центральных партийных до силовых). Работая с вышеупомянутым делом из РГАСПИ, автор данной статьи не встретил заявлений

¹ Академик К.И. Сатпаев. С. 9.

² Там же. С. 363.

«т. Черниченко и Шоинбаева», написанных до июня 1950 года. ЦК ВКП(б) была организована проверка, итогом ее стала данная записка на имя секретаря ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкова проверяющих инспекторов (П. Апостолов, Б. Митрейкин и А. Петровский), в которой они отмечают, что «указанные факты при проверке в основном подтвердились»¹. Предполагаем, что именно об этом и вели речь Черниченко и Шоинбаев в своих первых «заявлениях», написанных ими до июня 1950 года.

Приведем фрагменты данной записки из дела № 335 (РГАСПИ), чтобы понять, о каких фактах идет речь. «ЦК КП(б) Казахстана в своих постановлениях неоднократно отмечал, что некоторые научные работники в своих трудах культивируют вредные и идейно-порочные положения, идеализируют феодально-родовой строй, возвеличивают ханов и баев, затушевывают классовую борьбу в дореволюционном казахском ауле, протаскивают буржуазно-националистические и антирусские взгляды... ЦК КП(б) Казахстана также неоднократно обязывал руководство Академии наук принять меры по очищению Академии от людей, не внушающих политического доверия и не способных к научной работе.

Однако все эти ошибки и извращения до сих пор повторяются многими работниками науки, культуры, и искусства Казахской ССР и не находят должной политической оценки со стороны ЦК КП(б) Казахстана.

Так, например, Бекмаханов – автор книги «Казахстан в 20–40 годы XIX века» до настоящего времени продолжает отстаивать ложные взгляды на характер и сущность восстания Кенесары Касымова. Он умалчивает о том, что в указанной книге им пропагандируется, как достоверный источник истории казахского народа, труды Алихана Букейханова, лидера контрреволюционной алаш-ордынской партии, что в предисловии этой книги он выразил «особую благодарность» ссыльному троцкисту Варшавскому, который редактировал работу Бекмаханова...»².

¹ РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 335. Л. 120.

² Там же. Л. 120.

«...Академией наук Казахской ССР в 1950 г. издана книга Акишевой «Конфискация скота и имущества крупных баев-полуфеодалов в Казахстане». В книге сконцентрированы злобные, антисоветские высказывания баев, приведены многочисленные отрицательные примеры участия бедноты в байском бандитизме. Ввиду политической вредности книги она изъята по указанию ЦК КП(б) Казахстана. В 1950 г. также изъята книга Погорельского «Оседание кочевников и развитие животноводства в Казахстане», в которой автор утверждает, что «род у кочевников – это не тот род, о котором мы знаем по Марксу-Энгельсу, а такой, который описан Радловым». В вопросе перехода казахов от кочевого образа жизни к оседлости автор игнорирует роль партии и советского государства, приводит цитаты из высказываний врага народа Байтурсунова...»¹.

«...Откровенно националистические тенденции содержатся в идейно-порочной книге действительного члена Академии наук Казахской ССР Жубанова. В этой книге, под видом фольклорного исследования тенденциозно, с антирусских позиций излагается «поющая», «звучащая» дореволюционная история казахского народа в песнях...»².

«...Указанные факты свидетельствуют о неблагополучии на идеологическом фронте. Одной из причин этого является засоренность кадров в научных и культурно-просветительных учреждениях Казахстана. В связи с неоднократными постановлениями ЦК КП(б) Казахстана несмотря на сопротивление президента Академии наук Сатпаева, только за последние три года из Академии было уволено более двухсот пятидесяти человек. Однако проверкой установлено, что кадры Академии наук до сих пор засорены людьми, не внушающими политического доверия и не способными к научно-исследовательской работе...»³.

¹ РГАСПИ. Л. 121–122.

² Там же. Л. 122.

³ Там же. Л. 123.

И затем в записке инструкторов ЦК идет речь о «националистах», «троцкистах», «врагах народа» и названы имена «вредителей»: Маргулан, Бектуров, Стендер, Сонгина, Тартаковская, Снопова, Ермековы, Тарабаев, проф. Русаков, Летников, Кенесарин, Кондыбаев, Галицкий и др.

Обвинялось в записке и руководство Академии наук КССР: «...Многочисленные факты засоренности Академии наук Казахской ССР политически чуждыми людьми не являются случайными. Руководящие члены Президиума Академии: вице-президент Кенесбаев (сын бая), академик-секретарь Галузо (брат троцкиста) не внушают политического доверия... Президент Академии наук Сатпаев К. исходит из семьи крупного бая. Два его брата репрессированы как враги советской власти. Сатпаев скрывает от партии, что в 1918 году он активно участвовал в работе контрреволюционной буржуазно-националистической партии «Алаш-Орда»... В связи с предстоящим обсуждением материалов проверки на бюро ЦК КП(б) Казахстана, считали бы необходимым внести предложений об обновлении руководства Академии наук Казахской ССР...»¹.

Репрессивный механизм был запущен. После этой проверки президенту Академии КССР К. Сатпаеву пришлось писать на имя секретаря ЦК КП(б) Казахстана Ж. Шаяхметова и заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) В.С. Кружкова «Докладную записку о ходе выполнения решений ЦК КП (б)К от 14/II-1950 г. и о некоторых организационных недостатках в работе Академии наук КазССР (об их причинах, существе и состоянии в данное время)» на 67 страницах, опровергая «ряд тяжелых обвинений в адрес Академии наук»². После первой записки меры давления ограничились вызовами в ЦК Компартии республики и ответными письмами Сатпаева с подробным отчетом о проделанной работе в ЦК республики и центра.

¹ РГАСПИ. Л. 127.

² Там же. Л. 132–133.

Но, несмотря на такую подробную, развернутую характеристику деятельности АН КССР, обвинения продолжали сыпаться и на Академию, и на Сатпаева. На имя того же заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) В.С. Кружкова некий А. Митин тоже отправляет докладную записку в сентябре 1950 года, где отмечено, что «тов. Сатпаев в своем письме пытается опорочить работу секторов Отдела пропаганды и агитации и отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б) тт. П. Апостолова, В. Митрейкина и Петровского. Тов. Сатпаев считает, что бригада ЦК ВКП(б) не оказала помощь работе Академии наук Казахской ССР. В задачу бригады не входило и не могло входить оказание научной помощи Академии. Т.т. Апостолов, Митрейкии и Петровский выезжали в Казахскую партийную организацию по решению ЦК ВКП(б) для расследования заявлений т.т. Черниченко и Шоинбаева (выделено нами – З.С.). Свою задачу бригада выполнила и представила ЦК ВКП(б) докладную выписку, в которой отметила засоренность кадров научных и культурно-просветительных учреждений республики, зажим критики и самокритики, идеологические ошибки и извращения в работах гуманитарных учреждений Казахстана и внесла предложение об обновлении руководства Академии. В целях оздоровления и укрепления работы Академии наук Казахской ССР было бы целесообразно ускорить представление на рассмотрение ЦК ВКП(б) докладной записки т. т. Апостолова, Митрейкина и Петровского»¹.

Осенью 1950 года продолжается волна репрессий в отношении академика Сатпаева. Кроме упомянутого корреспондента газеты «Правда» по Казахской ССР А. Черниченко появляется еще один фигурант по «сатпаевскому делу». О существовании «заявления» от Т. Шоинбаева становится понятно из вышеупомянутой докладной записки инструкторов отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), направленных для выяснения ситуации².

¹ РГАСПИ. Л. 128.

² Там же. Л. 120.

Но записки Т. Шоинбаева, датированной до событий июня 1950 года, (как уже отмечалось) в этом деле нет. Зато есть другой документ, который позволяет понять, почему с осени 1950 года началась новая волна репрессий по отношению к К. Сатпаеву. Нами обнаружено письмо, которое было написано вторично уже в октябре 1950 года и направлено на имя секретаря ЦК ВКП(б) М.А. Сулова, также в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б) М.Ф. Шкирятову. Спустя 67 лет трудно говорить о мотивах, побудивших профессионального историка, кандидата исторических наук писать «письма» такого рода, но не случайно в публикациях об этих событиях говорится о «завистниках и недругах», не исключено, что эти определения и объясняют причины написания таких «заявлений». Важно знать, к каким последствиям привели такого рода письма-доносы, и хотя значительная часть приведенных фактов оказалась инсинуациями, но новый виток гонений на Сатпаева они, тем не менее, спровоцировали. Причем речь в этом доносе идет не о деловых качествах академика, не об озабоченности заявителя состоянием казахстанской науки. Это письмо – кляуза, из 7 страниц неполных 4 посвящены «алашскому» прошлому К. Сатпаева, 0,5 страницы – обвинения в сатпаевской поддержке концепции Е. Бекмаханова по движению Кенесары, 2 страницы текста – измышления о протекции Сатпаева «социально чуждым советской власти элементам», а затем следует перечень вопросов, которые, по мнению Т. Шоинбаева, требуют специальной проверки. Вынесенные в качестве ключевых в записке Шоинбаева эти тезисы весьма показательны (и, пожалуй, типичны в письмах такого рода) для сталинского периода: происхождение и прошлое (участие или неучастие в партийной борьбе, партийной оппозиции, в «национал-уклонизме» и т. п.) играли ключевую роль.

Причем, следует заметить, что, хотя данное письмо датировано октябрём 1950 г., факты, обозначенные там, почти дословно процитированы в докладной записке инструкторов отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) в июне 1950 г. Из чего следует вывод, что первое письмо-донос от Т. Шоинбаева было

аналогичного содержания. По всей видимости, неудовлетворенность итогами партийной проверки Академии наук и побудила Т. Шоинбаева вновь «писать».

Приведем некоторые фрагменты этой инсинуации Шоинбаева (октябрь 1950 г.); оно начинается с характеристики «буржуазно-националистической» партии «Алаш» (сохранена орфография письма): «В июле 1917 года в Оренбурге на, так называемом, общекиргизском съезде, проведенном под руководством национал-кадета Букейханова и состоявшем из баев, мулл, представителей буржуазно-националистической интеллигенции, политически оформилась контрреволюционная буржуазно-националистическая партия «Алаш» с филиалами в других городах Казахстана.

Партия «Алаш» была агентурой русской империалистической буржуазии, поддерживала Временное правительство и боролась против проникновения в массы коренного населения революционных большевистских влияний.

Партия «Алаш» была врагом Советской власти, а, следовательно, и казахского народа. В годы борьбы за установление Советской власти в Казахстане сотни большевиков и беспартийных большевиков русских, украинцев и казахов погибли от рук алаш-ордынских палачей. Они же убили большевика, героя гражданской войны Амангельды Иманова, непреклонного борца за Советскую власть в Казахстане»¹.

Как видим, ничего нового и «своего» в трактовке событий многолетней давности у автора письма не было: он механически излагал официальную на момент написания текста данного письма точку зрения на события 30-летней давности.

Далее по тексту письма. «Одним из активных членов этой партии «Алаш» был нынешний президент Академии наук КазССР Каныш Сатпаев. Об этом может подтвердить писатель Мухтар Ауезов. Об этом свидетельствуют газеты «Казах» и «Сары-Арка» – органы партии «Алаш». На страницах этих

¹ РГАСПИ. Л. 241.

газет можно найти фамилию Сатпаевых в числе других алашордынцев. Так, например, в газете «Сары-Арка» от 9 ноября 1917 года за № 19 в статье «Агитатор» писалось о том, что Каныш Сатпаев и Джусупбек Аймаутов партией «Алаш» направлены в Павлодарский уезд для проведения антисоветской агитации среди казахского населения. Аймаутов был также одним из активных членов этой партии, впоследствии разоблаченный, как враг народа.

Каныш Сатпаев с рвением выполнял задания партии «Алаш» в борьбе против Советской власти и поэтому в одном из номеров газеты «Казах» за 1918 год была помещена похвальная статья о Сатпаеве. В статье писалось, что партия «Алаш» возлагает большую надежду на своего молодого члена Сатпаева Каныша, исключительно преданного делу партии «Алаш».

Преданность Сатпаева к этой буржуазно-националистической партии была неслучайной. Он – выходец из крупной байско-феодальной семьи. Он мечтал о сохранении байской власти над казахским народом, а партия «Алаш» защищала интересы казахского байства. Вот почему Сатпаев вступил в эту партию. Не случайно, что его братья Абикей, Карим и Нокеш также были активными членами этой партии в борьбе против Советской власти.

После установления Советской власти на территории Казахстана, партия «Алаш» ушла в глубокое подполье: Алашордынцы, потерпев неудачу, разбрелись кто куда. Они изменили свою тактику и стали тихонькими, смирными, ручными, вполне «советскими людьми»¹.

В данном фрагменте автор письма явно лукавит: как историк, он не мог не знать, что представители движения «Алаш» были амнистированы советской властью и ею же все без исключения привлекались к сотрудничеству.

И далее в письме. «Сатпаеву Канышу ничего не оставалось, кроме того, чтобы превратиться в вполне «советского человека».

¹ РГАСПИ. Л. 242–243.

Спасая свою шкуру, он поступает на учебу в гор. Томске. Другим Сатпаевым – Абикею, Кариму и Нокешу, видимо, не удалось, как их брату Канышу, замаскироваться. Они были разоблачены и репрессированы органами, как заклятые враги народа. Каныш Сатпаев вряд ли простит это Советской власти.

В 1945 году бывший член контрреволюционной партии «Алаш», буржуазный националист, враг партии большевиков Каныш Сатпаев был принят в ряды ВКП(б). Он скрыл от партии то, что он был и есть буржуазный националист и что он выходец из крупной феодальной семьи, лишь частично признал, что Сатпаевы от малого до большого боролись против Советской власти.

В 1946 году его НАЗНАЧАЮТ Президентом Академии наук Казахской ССР. В дальнейшем он становится депутатом Верховных Советов КазССР и СССР и академиком. В 1949 году буржуазный националист, враг партии большевиков был избран членом ЦК КП(б)К. При всех выдвиганиях его на ответственные посты, [...], выдавал себя за сына зажиточного скотовода. Он обманул народ, когда его выбрали в депутаты Верховных Советов КазССР и СССР, выдавая себя за сына угнетенного царизмом труженика кочевника. Надо иметь в виду, что Сатпаев скрыл также свой возраст. Ему не 50 лет, а около 60-ти. Это он сделал для того, чтобы скрыть свою принадлежность к партии «Алаш». Ему весьма выгодно было быть 16–17-летним юношей в 1917 году, когда существовала эта партия. Между тем, как уже сказано выше, его выдают архив и газеты «Казах» и «Сары-Арка» – органы партии «Алаш»¹.

Шоинбаев жонглирует понятиями «бай» и «зажиточный скотовод», обвиняет академика в сокрытии возраста, так как прекрасно знает, что читатели его письма далеки от реалий казахского общества. Трудно сегодня сказать (по прошествии почти семи десятилетий), лжет Шоинбаев или искренне верит в то, что пишет в своем доносе касательно возраста Сатпаева, но

¹ РГАСПИ. Л. 243–244.

не ориентироваться в социальных категориях дореволюционного казахского общества как профессиональный историк он не мог. Затем Т. Шоинбаев переходит к обвинениям по поводу д.и.н., профессора Е.Б. Бекмаханова.

«Сатпаев Каныш не перестал быть буржуазным националистом и по сей день. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что он с рвением защищал буржуазно-националистические взгляды БЕКМАХАНОВА, изложенные им в книге «Казахстан в 20-40 гг. XIX в.». В этой книге Бекмаханов идеализировал заклётого врага казахского народа, агента Среднеазиатских ханов и английского империализма султана Кенесары Касымова. В книге Бекмаханова пропагандируются труды национал-кадета Алихана Букейханова. Все это, конечно, было по душе Сатпаеву, поэтому он с особым рвением защищал Бекмаханова и его буржуазно-националистическую книгу»¹.

Следующий ряд обвинений связан с кадровой политикой К. Сатпаева.

«С помощью Сатпаева ряд выходцев из байско-феодальной семьи стали кандидатами, докторами наук, а некоторые членами Академии. Так, например, дочь крупного бая, жена буржуазного националиста Тарабаева, имея все условия, созданные ей Сатпаевым, стала доктором. Брат другого буржуазного националиста, алашордынца Габбасова – стал членом-корреспондентом Академии наук КазССР. Зять Сатпаева, муж дочери алашордынца Абикейя Сатпаева, Бектуров стал действительным членом Академии, а его жена Райхан, сестра Сатпаева дочь заклётого врага казахского народа стала кандидатом наук. В Академии наук работает кандидат наук потомок Султана Кенесары – Кенесарин.

Зять Сатпаева – Аликей Маргулан в 1946 году с помощью Сатпаева защитил докторскую диссертацию на тему «Казахский эпос», в которой Маргулан восхваляет, идеализирует военачальника «Золотой орды» Едыге, одного из палачей русского

¹ РГАСПИ. Л. 244.

народа в период монгольского ига. Этот буржуазный националист Маргулан, с помощью Сатпаева стал членом-корреспондентом Академии наук КазССР»¹.

И далее в письме автор безосновательно выдвигает обвинения президенту АН КССР в использовании «буржуазно-националистического метода руководства»². Т. Шоинбаев требует проверки академика К.И. Сатпаева по восьми пунктам.

«Необходимо проверить:

1. Факт скрытия Сатпаевым своего происхождения при вступлении в члены партии в 1944 году и свою принадлежность в прошлом к контрреволюционной партии «Алаш», о чем свидетельствуют архив и газетные материалы.

2. Факты скрытия от народа своего прошлого, когда его выбирали депутатами в Верховные Советы.

3. Сказал ли он на IV Съезде компартии Казахстана в феврале 1949 г., когда его выбрали членом ЦК, что он в прошлом служил «Алаш-орде», что он в ноябре 1917 года вместе с заклятым врагом Советской власти Аймаутовым ездил в Павлодарский уезд для проведения антисоветской агитации среди казахского народа.

4. Автобиографию Сатпаева. Указывает ли он там о своем феодально-байском происхождении.

5. Докторскую диссертацию Маргулана (зятя Сатпаева), написанную им с буржуазно-националистической позиции и обстоятельства, при которых этот буржуазный националист стал членом-корреспондентом Академии наук и участие в этом Сатпаева.

6. Обстоятельства, при которых Бекмаханов за «антимарксистскую работу» (Кафтанов) получил степень доктора исторических наук и участие в этом Сатпаева.

7. Факты преследования Сатпаевым неугодных ему коммунистов.

¹ РГАСПИ. Л. 245.

² Там же. Л. 246.

8. Проверить байско-феодалные нравы Сатпаева (наличие трех жен, окружение себя людьми из своего аула, защита им жулика Садыкова из его же аула и т. д.).

Член ВКП (б) Т. Шоинбаев»¹.

Содержание данного письма Т. Шоинбаева вызывает однозначную реакцию, но суть не только в эмоциональной оценке данного письма. Письма Т. Шоинбаева сыграли роковую роль в истории академика Сатпаева. Первая часть обвинений в адрес К. Сатпаева о непролетарском, байском происхождении и сокрытии такового имела достаточно тяжелые последствия. Думаем, что спасло К. Сатпаева от 58 статьи уголовного кодекса лишь то, что это был уже послевоенный период, когда массовые репрессии и расстрельные статьи остались в 1937–1938 гг., в противном случае крайние меры (25 лет заключения в лагеря или расстрел) были бы неизбежны. Как известно, никакие заслуги в 1930-е гг. не защищали от репрессивной сталинской машины. Но маятник репрессий продолжает раскачиваться в 50-е годы XX века.

23 ноября 1951 года решением заседания бюро ЦК КП(б)К Канышу Сатпаеву (прот. № 91, п. 3) предъявляются следующие обвинения:

«а) при вступлении в партию скрыл свое социально-чуждое происхождение. Отец тов. Сатпаева имел байское хозяйство;

б) [...] до самого последнего времени не выступал с признанием и осуждением своих националистических ошибок в предисловии к книге «Ер-Едиге» [...];

в) допустил засорение кадров Академии наук Казахской ССР не внушающими политического доверия и случайными в науке людьми [...]»².

И в результате – постановление о снятии К.И. Сатпаева с поста президента Академии наук КССР, строгий выговор с предупреждением и занесением в учетную карточку. Но этого показалось недостаточным. Из постановления бюро ЦК КП(б)К

¹ РГАСПИ. Л. 247–248.

² Академик К.И. Сатпаев. С. 409–410.

от 23 ноября 1951 года: «поручить министру государственной безопасности КазССР тов. Фитину проверить материалы об использовании тов. Сатпаева К.И. Семипалатинским комитетом Алаш-Орды в качестве агитатора и результаты проверки доложить ЦК КП(б) Казахстана»¹. Тогда же по представлению НКВД КазССР в ЦК КП(б)К рассматривался вопрос о заведении уголовного дела на академика К.И. Сатпаева, но партийное руководство республики в лице Ж. Шаяхметова и И. Омарова отстояли К. Сатпаева, что, в конечном итоге, впоследствии сказалось и на их карьере.

В архиве Сатпаева, пишет его биограф М. Сарсекеев, сохранились копии трех писем, написанных между январем и мартом 1952 года: первое от 20 января адресовано И.В. Сталину (на 55 страницах), второе – секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову (на 5 страницах), третье – заведующему отделом науки и вузов ЦК ВКП(б) Ю.А. Жданову (на 8 страницах)². И во всех этих письмах К. Сатпаев категорически возражает против ярлыков, навешанных на него в процессе этой травли. Каныш Имантаевич в письме к Сталину пишет: «Не будучи по своей природе любителем «спокойной» жизни и «перестраховок» в работе, при решении отдельных принципиальных вопросов я смело шел иногда и на «рискованные» шаги, исходя при этом единственно из сознания государственного значения этих вопросов...»³. В этом принципиальная позиция академика Сатпаева, и, несмотря на крутые извилистые повороты судьбы ученого, история расставила все по своим местам.

Об авторе

Сактаганова Зауреш Галимжановна, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнологии и Отечествен-

¹ Архив Президента Республики Казахстан (АП РК). Ф. 708. Оп. 15. Д. 175а. Л. 1.

² Сарсеев М. Сатпаев. – Алма-Ата: Онер, 1989. С. 372.

³ Академик К.И. Сатпаев. С. 413.

ной истории КарГУ им. Е.А. Букетова; директор Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований КарГУ им. Е.А. Букетова. Закончила историко-педагогический факультет Петропавловского педагогического института, аспирантуру КазГУ им. аль-Фараби. В 2004 г. защитила докторскую диссертацию по специальности 07.00.02 – Отечественная история (История Республики Казахстан). Научные интересы связаны с проблемами новейшей истории Казахстана XX века. Автор более 300 научных публикаций (общим объемом более 300 печатных листов), из них 10 монографий, более 20 учебников, учебных и учебно-методических пособий. Автор монографий «Экономическая модернизация Казахстана. 1946–1970 гг.» (Караганда, 2017), «История городской повседневности Центрального Казахстана в 1946–1991 гг.» (Караганда, 2017), «Женщины Центрального Казахстана в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945» (Караганда, 2016) и др.

Литература

Академик К.И. Сатпаев: Сборник документов и материалов / сост.: Б.Т. Жанаев (отв.), Н.П. Кропивницкий и др. Астана: ІС-Сервис, 2009.

Блок М. Апология истории или ремесло историка. Изд. второе, дополненное. – М.: Наука, 1986.

Верт Н. История советского государства. 1900–1991. Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1992.

Гринберг И.Э. Идеологические кампании в послевоенном СССР и их последствия для Казахстана // Казахстан: послевоенное общество 1946–1953 гг. Материалы Международной научно-практической конференции. – Алматы, 2012, 20 апреля.

История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В пяти томах. Т. 4. – Алматы: Атамұра, 2009.

Политические репрессии в Казахстане в 1937–1938 гг.: Сборник документов. – Алматы: Қазақстан, 1998.

Сарсеев М. Сатпаев. – Алма-Ата: Онер, 1989.

Архив Президента Республики Казахстан (АП РК). Ф. 708. Оп. 15. Д. 175а.

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 132. Д. 335.

Высказывание Сталина о преклонении перед иностранцами. 15 августа, 2012 [Электронный ресурс] // <https://politikus.ru/articles/1930-vyskazyvanie-stalina-o-preklonenii-pered-inostrancami.html>

Аннотация

В данной статье автор рассматривает историю политических репрессий конца 1940-х – начала 1950-х гг. по отношению к научной и творческой интеллигенции в Казахстане, выявляя причины двух волн этих репрессий в послевоенный сталинский период. Автор публикует письмо Т. Шоинбаева, отправленное центральному партийному руководству. В нем Шоинбаев обвиняет президента Академии наук Казахской ССР К.И. Сатпаева в «алашском» прошлом, сокрытии своего феодально-байского происхождения, поддержке в институтах АН КССР «националистов» и «затаившихся врагов» советской власти. Прослеживаются дальнейшие события в судьбе К. Сатпаева, связанные с реакцией власти на эти инсинуации. Автор рассуждает об ответственности историка перед будущими поколениями за свои воззрения и публикации. Статья выстроена на основе архивных документов, опубликованных ранее и публикуемых впервые.

Раздел II

ПАМЯТЬ

*наши соседи – тоже погорельцы
они
отстраивают домишко
не слишком верится в успех этой новой возни: они ж
не строители а как мы
погорельцы но дело даже не в том а просто непонятно
зачем им дом – будет
напоминать о доме*

Михаил Гронас. «Визитная карточка»

В наиболее радикальной трактовке Память и История связаны друг с другом не благодаря своим общим свойствам, а вопреки фундаментальному различию. Память – будь она индивидуальная или коллективная – ошибается, и ошибается она *постоянно*, но в этом последовательном повторении ошибок отражена основополагающая ее черта, а именно – гибкость, совсем нефотографическая восприимчивость к самым, казалось бы, незначительным движениям жизни. В Истории как дисциплине ошибка – индикатор несостоятельности интерпретативной схемы и одновременно призыв к преодолению официальной версии и замене последней версией ревизионистской. Историческая ошибка, в отличие от ошибки Памяти, безличностна, как и безличностна перспектива, предлагаемая Историей. Между формациями-агентами Истории – народами, цивилизациями, политическими партиями, религиозными движениями – и индивидуумами-первоносителями Памяти – эпистемологическая бездна, преодолеть которую можно лишь при помощи мостов, построенных из тончайшего материала метафорических образов и метафизических суждений.

Отчасти именно это бездну между Памятью и Историей имел в виду Гегель, призвав к жизни свой дух Разума, что не задерживается на мириадах индивидуальных опытов, но поль-

зуются ими в продвижении своей, одному ему известной космической повестки. Страждущие и хранящие память о своих страданиях и страстях люди мало что ведают о пути, по которому ведет их Разум. Скрываемое за абстрактными понятиями «бесклассового общества» и «торжества свободы» назначение начинает проясняться только при большом отдалении от человеческого масштаба и только наблюдателям, способным перекрыть каналы, по которым сострадание связывает их с давно ушедшими предками.

Что же можем мы сказать о самодостаточной роли Памяти в хронике движения людей сквозь эпохи и события, смысл которых, по Гегелю, продолжает оставаться сокрытым от них?

Этот вопрос формирует тематику второго раздела нашей книги – раздела, посвященного Памяти о Сталинизме. У каждого из авторов раздела своя точка отправления и свой, в некотором роде уникальный подход, но каждый из них, в конечном итоге, приходит к единому выводу.

Поляки, издревле жившие на «кресах» – белорусско-украинских окраинах бывшей Речи Посполитой – стали одним из первых народов, подвергшихся депортации в глубь Страны Советов. Известный писатель пост-советской русофонии Юрий Серебрянский, сам потомок польских переселенцев, попытался воссоздать опыт людей, вырванных из своих родных мест и оставленных в казахской степи без достаточных средств, а главное, без объяснений, за что им была уготована такая участь. В своей главе Серебрянский соединяет художественную прозу, выдержки из постановлений СНК и свидетельства переживших вынужденный исход. Для всех опрошенных свидетелей той эпохи депортация пришлась на их детство, что и объясняет выбор автором центрального действующего лица в его стремлении создать «собирательный образ» переселенцев.

Это решение нельзя не назвать удачным. Восприятие ребенка – девочки Генки (уменьшительно-ласкательное от «Евгения») – сохраняет память о лишениях переселения как бы мимоходом, без какой-либо умышленной умственной направ-

ленности. Однако именно благодаря этому условия, недостойные человека и даже недостойные скотины, в которых по воле советского государства оказались десятки тысяч людей, предстают перед читателем особенно выпукло. Читая мастерски написанный текст Серебрянского, трудно избавиться от ощущения, что его основной посыл скрывается в недосказанном, в переходах от одного предложения к другому, в невидимом, но ощущаемом нами ритме дыхания людей и животных, готового вот-вот сорваться и перейти в белый шум. Это не ужас на периферии зрения, а ужас совершенно всепоглощающий – настолько огромный, что его невозможно хирургически отделить от происходящего и при этом сохранить за оставшимся зачатки смысла. У Серебрянского сталинизм превращается в онтологическое условие самого сознания, даже (или особенно) сознания детского, коему традиция, упрямо не признавая перемены, продолжает приписывать чистоту и невинность.

Журналиста, исследователя и правозащитника Екатерину Кузнецову можно причислить к свидетелям эпохи, разобраться в которой пытаются авторы этой книги (а вместе с ними и бесчисленное количество академиков и необремененных академическими степенями «обычных граждан»). Родившаяся в Китае и переселившаяся восемнадцатилетней девушкой в Караганду Екатерина Кузнецова видела, как лагерь постепенно превращался в большой город. Видела она и другое: как государственная цензура и сопутствующая ей самоцензура на долгое время закрыли доступ к правде о Караганде и ее трагических корнях – к правде о Карлаге, этом огромном острове в гулаговском архипелаге. Все это придает главе Кузнецовой статус едва ли не первоисточника. Она пишет не столько о памяти, сколько вспоминает сама.

В центре внимания главы – не только рассказ о том, что пережили – если пережили – узники Карлага. Кузнецова пишет и о том, что было сделано, дабы сохранить и донести знание о лагере и его ужасах. Она пишет о московской пенсионерке Татьяне Ивановне Никольской, полвека спустя посетившей

Карлаг, в котором ей не посчастливилось родиться и провести свое детство. Пишет она и о гостях из «дальнего зарубежья» – гражданине Финляндии Хеймо Раутеайнене и Джозефе Глазере, выходец из Трансвааля – юношами арестованных как врагов народа, и теперь так же, в поисках правды, отправившихся назад на свою Голгофу. Героями ее повествования стали кинодокументалисты, установившие топоним «Долинка», «столицу Карлага», на трагическую карту утопических проектов XX века.

Вместе с тем Кузнецова продолжает задаваться вопросом: достаточно ли сделано для того, чтобы память о ГУЛАГе не изгладилась из коллективного сознания? Время «стирает многое», пишет Кузнецова, «Но остается Память». С другой стороны, будет ли эта память нужной грядущим поколениям, не станет ли она частью некоего фольклора, легендой о страдании в мифологизированной версии прошлого, способной вызвать у обращающихся к ней разве что чувство пиетета, но ни в коем случае не родства? Автор не дает нам однозначного ответа.

Глава, написанная культурологом Александрой Цай, пожалуй, более других вписывается в академический формат. Используя пример корейцев, депортированных в Казахстан и Узбекистан в 1937–38 гг., автор вместе с немецким антропологом и историком Алейдой Ассман задает почти шекспировский вопрос: «Помнить или забыть?» И если помнить, то для чего и, самое главное, как? Ведь, как напоминает нам Цай, есть память «официальная», есть «народная», а есть и «пост-память», т. е. память о травматических событиях, передаваемая от поколения, пережившего травму, к поколению, появившемуся «после». Каждая из этих форм памяти служит в итоге разным целям, они имеют разную «терапевтическую ценность» и в разной степени подвержены инструментализации.

Теоретические размышления умело вплетены автором в описываемую и переживаемую ею личную драму. Для Александры Цай, представителя того самого поколения «после», вопрос о памяти – это вопрос, связанный с коллективным самоопреде-

лением. Кто мы, спрашивает автор, постсоветские, среднеазиатские корейцы, оказавшиеся не по доброй воле в Казахстане, но нашедшие здесь свой дом? Оторванные от прошлого трагическим опытом депортации, можем ли мы называть Корею и Дальний Восток родным краем? Вопрос о памяти – это еще и вопрос индивидуальный. Говоря о травме, автор обращается и к себе: ведь если травма сталинизма не прожита, до конца не признана и не осознана, она незаметным образом формирует мировоззрение и поведенческие нормы каждого, носящего ее в себе.

Три представленных здесь работы различны по стилю изложения и по содержанию. Они отражают общую полифонию данного издания, подчеркивая, как нам бы хотелось надеяться, его ценность. Тем не менее в них есть то общее, что может стать ответом на поставленный в самом начале вопрос о самодостаточной роли Памяти в хронике человеческого становления. Тот самый конец Истории, заманчиво обещанный Гегелем, Марксом и современными трансгуманистическими позитивистами, означает, помимо прочего, синхронизацию в коллективном восприятии и интерпретации времени; уже поэтому Утопия за горизонтом Истории несет в себе сильный отпечаток дистопии. В этой Утопии нет места для зачастую бессвязной, ошибающейся памяти и поэтому нет места индивидуальности, обусловленной, в конечном итоге, неповторимостью памяти, нежели (пока еще) уникальным телом.

Наши авторы знают об этой черте Утопии – и знают не понаслышке. Они предлагают нам помнить – и помнить самоотверженно, помнить изо всех сил, помнить, для того чтобы быть. Они предлагают каждому из нас помнить свое – но при этом помнить за всех.

Михаил АКУЛОВ

Юрий Серебрянский

Алтыншаш

С самого первого номера журнала польской диаспоры в Казахстане «*Almatyński Kurier Polonijny*» мы публикуем истории польских семей, депортированных в Казахстан по приказу Сталина. Надо сказать, что одной из причин появления журнала и было то, что такой исторический материал – воспоминания участников событий или потомков, записавших свидетельства происходившего, обязательно нужно опубликовать. Хранить эту память – одна из миссий нашего издания. Мне посчастливилось встречаться и записывать рассказы тех, кого привезли детьми в Казахстан в вагонах, предназначенных для транспортировки скота. Несмотря на очевидную доказанность этого преступления против поляков и других народов, у тех, с кем беседовал, я не заметил озлобленности, и это потрясло меня. Люди, скорее, воспринимали произошедшее как некий фатум, судьбу. Вспоминать им хотелось больше о хорошем, которого так мало выпало в детстве. Это свойство памяти и есть одно из доказательств выживаемости человека. И, конечно, вера, которую ничто не смогло сломить.

Со временем в моих руках оказалось так много записей, документов, свидетельств, написанных эмоционально или детально, с повторяющимися трагическими подробностями, и при этом очень индивидуальных, личных, что прочтя все их вместе, я понял, какой заряд справедливости и правды принесла бы публикация этих воспоминаний в виде книги. Я воспринял такую работу как личную ответственность перед этими людьми. Вспомнил о том, как потрясло меня отношение к судьбе тех, с кем посчастливилось побеседовать, и мне стало интересно создать собирательный художественный образ,

характер, персонажа. Так появилась повесть «Алтыншаш», ставшая частью книги, и для меня огромная честь поставить этот текст по соседству с документальными свидетельствами эпохи.

«...

2.

Состав останавливали часто, но будет ли остановка долгой или короткой, понять невозможно. Никто не сообщает. На второй день пути пассажиры начинают прикидывать, стоит ли попробовать успеть развести огонь и что-нибудь приготовить или выстирать пеленки?

Вагон, в котором едет семья Генки, большой, деревянный, но для людей мало приспособленный. Когда только сели в него, папа посадил Генку и Романа, генкиного младшего брата, на второй ярус нар. Воздух заполнен запахом коровника. Высоко. «Зато через эту щель в стенке можно будет и наружу выглянуть, и воздухом подышать», – подумала Генка.

В вагоне полутьма. Сколько ехать?

Если станция – стоять долго. Если на путях – никто сказать не возьмется. Во время долгой остановки можно успеть сварить полевку-похлебку. Генке похлебка и даже килбаска не важны совсем, на долгих остановках она пробегает расстояние в пять вагонов за две минуты, ловко огибая солдат в защитного цвета форме и людей, выпрыгнувших из вагонов на насыпь. Добежав до вагона, в котором едут дедушка вместе с коровой Малиной, снаружи точно такого же, она заглядывает внутрь, туда, где невыносимо воняет скотиной, и дедушка говорит ей ласково и тихо: «Геня». Дед стал совсем на себя не похож. Дома он командовал всем, чем можно было командовать. Папой и мамой, курами, коровой, соседями и поросенком, который прижимал уши и щурился от своей глупости. Однажды, когда поросенок бушевал, оставшись один, и ме-

шал Генке спать, дед пошел и наорал на него, но не просто наорал, он подробно рассказал поросенку о том, что стало с его матерью, свиньей. Вот таким был дед. Раньше.

«Раз корову разрешили взять, значит насовсем нас гонят». Мама ругалась на дедушку за то, что он сказал это. Плакала. Она почему-то поняла, что дедушка теперь другой и можно кричать на него, и она на него кричала.

Иногда дедушка протягивает ладонь в щель между досок загородки вагона, и Генка трогает его ладонь, а потом смотрит на морду Малины, но ее черных глаз в темноте вагона не разглядеть.

Потом Генка, развернувшись, бежит по щебню, или пыли, или траве обратно, к своему вагону, под взглядами военных, которые обращают внимание, но молчат. Постоять там на свежем воздухе. Запах сразу же стал не таким, как дома, хотя часто поезд стоит на разъездах в лесу, так похожем на тот, домашний.

На десятый день пути, когда Генка прибежала к дедушке, состав стоял на какой-то станции с кирпичным домом в форме маленького дворца. У крыльца, в саду, аккуратно, в два ряда росли деревья, покрашенные так, как будто это были школьницы в белых гетрах, торжественно встречавшие поезда. Генка увидела печальные глаза Малины сквозь щели и поняла, что дедушка переселился в нее, чтобы не мучиться голодом и вонью. Корова и дедушка стали теперь единым целым.

Когда все вылезали из вагонов на насыпь, чтобы постоять вместе с поездом, а папа говорил – «лес какой-то, станции нет, короткая остановка» и протягивал руки для того, чтобы снять ее с нар, Генка самостоятельно спрыгивала на пол вагона, потом ловко, уже при помощи папы спускалась на насыпь и заглядывала под вагон. По той стороне идут ноги солдат – патрули. Их сапоги. Грязные огромные голенища. Иногда они останавливаются и курят. Хочется забраться под вагон, как она делала на долгих стоянках, туда, где никто не видит,

и можно представить себе тишину. Только здесь тихо и не страшно. Потому что шум означает тревогу и страх. Даже когда люди в вагоне молчат, тишины там нет никакой. В вагоне едет не только генкина семья. Людей много, и Генка многих знает. Часто представляет себе тишину. Скучает по той, домашней. На стене комнаты остались тикать часы.

...

5.

С самого утра поезд едет по этому открытому пространству. Боковой ветер продувает вагон, иногда налетая вихрем, свистящим в щелях. Время от времени по сторонам попадают белые грязноватые пятна, издалека похожие на ледяные поля. Мосты через какие-то мелкие речушки и столбы, бесконечные и одинаковые. Всё, кроме этих столбов, уже поменялось вокруг. Тайком отодвинув мамину свернутую кофту, закрывавшую на ночь щель-окно, Генка от нечего делать считает столбы. Они напоминают великанов с одной, выставленной в сторону ногой, или танцоров, ожидающих музыку. Иногда дорога делает такой изгиб, что становится видно то хвост, то передние вагоны. На остановках, когда можно выйти из вагона, люди оглядываются вокруг. Незнакомая трава в степи пахнет дикостью и тревогой, какая бывает перед самым заходом солнца в сгущающихся сумерках. В темноте степь оживает. Крики птиц и треск цикад как будто на другом языке. Костер, разведенный у полотна в самом конце поезда солдатами, днем угадывается по мареву, а по мере того, как сгущается темнота, становится похож на петушиный хвост. Наступает момент, когда костер и закат одинаково бордовые, и непонятно, где солнце – там, у этих солдат, или оно уходит. Генка стоит на насыпи рядом с мамой, и ей страшно за солнце, которое могут потушить. Только бы поезд не тронулся именно сейчас. Она сжимает мамину руку изо всех сил. Наверное, мама чувствует то же самое. Поезд отъехал глубокой ночью,

а к обеду следующего дня уже стали появляться небольшие лесочки то с одной, то с другой стороны. Они были похожи на пролетающие облака, если представить, что степь – небо. Можно смотреть так на них целый день, но поезд вдруг останавливается. Ветра нет. Маленькая станция. Покосившийся забор. Несколько строений. Солдаты дают сигнал всем выходить из вагонов. Пробрасывают настилы для того, чтобы спустить скотину. Поезд стоит полукругом, он длинный, и видно, как из вагонов выпрыгивают люди, и одни подают, а другие принимают вещи, связки с вещами, какие-то крынки, детскую коляску с белыми колесиками, мятый чемодан. Папа говорит, что всё. Приехали. Вокруг шум голосов. Какая-то женщина зовет Франца. Дети держатся взрослых. «Почему у нас так мало вещей?» – Генка разглядывает соседей, чей мальчик оставлен держаться за ручку большого чемодана.

Как и все остальные, родители собирают все вещи в кучу недалеко от барака.

– Есть у твоего отца закурить? – какой-то мужчина подошел.

– Сейчас посмотрю, – отвечает папа и развязывает дедушкин вещевой мешок.

На горизонте над степью миражи. Здесь очень сухая жара. Мама боится змей и забралась на вязанки вещей, лежащие на пыльной земле. На небе ни облака. Оно очень высокое и прозрачное. Ночевать придется прямо здесь. На станции. Под небом. Утром обещают всех отвезти в новые поселки. Нужно будет расселяться в дома. Так сказали. Кто сказал?

Котелок со шкварками так и стоял, заваленный вещами в вагоне. Или мама специально его забыла? Вкус и запах дома. Вечером сильно холодает, и пищат комары кругом.

В тракторной повозке уместилась еще одна семья, родители о чем-то перекинулись парой слов с теми взрослыми. Генка

сидит рядом с мальчишкой чуть младше себя. Он смотрит на нее все время боковым зрением и молчит насупленно. Генка отвернулась и увидела, как поезд становится маленьким, превращаясь в змею, лежащую на самом краю горизонта. Мальчишка спит, и голова его облокотилась на Генкино плечо, а когда повозку трясет, он во сне хватается ее больно за локоть. Но будить не стала. Стерпела. Рука отца служит опорой ее спине, и от напряженной руки идет тепло и спокойствие. Хочется спать и выспаться в новом доме, до которого еще час ехать.

6.

Почему именно здесь? Тот же самый вчерашний вопрос. Интересно, где границы поселка, если границ никаких нет и видно очень далеко вокруг? Мальчишка давно проснулся и даже не понял, отчего ему было удобно. Земля покрыта низкой травой, и сухой, и зеленой вперемешку. Дикий степной запах. Ходят солдаты и собирают мужчин ставить палатки из белой и темно-зеленой ткани. Белые – небольшие, а зеленые – огромные. Генке раньше не приходилось видеть палаток. Это очень забавно. Дом появляется из каких-то свертков.

Папа сказал, что нужно идти в ту белую палатку. Страшная тайна раскрыта – эти палатки и есть дома. Люди молчат и едят вечернюю похлебку у маленьких костров между палаток.

Ткань палатки пропускает только свет костра, возле которого – театр теней. Что-то обсуждают. Руки и кепки похожи на клювы гусей и шеи жирафов.

Паук перед самыми глазами. «Хорошо бы, если это был бы наш паук, который в одежде прятался». Дедушка не позволял маме ловить и гонять их. Даже паутину не трогал, на что мама уже согласиться никак не могла. Кажется, Генка узнала этого паука. Он домашний.

Вчера она видела, как выводят коров и что Малина шла с другими. И дедушка с ней. Завтра пойдет поздороваться. В палатке надышали. Тепло. Роман давно спит. Папа на улице».

Документ № 1.13

**Постановление СНК № 776-120сс
«О выселении из УССР и хозяйственном
устройстве в Карагандинской области Казахской
АССР 15 000 польских и немецких хозяйств»**

28.04.1936

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 776-120сс
Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совершенно секретно

28 апреля 1936 г.
Москва, Кремль

О выселении из УССР и хозяйственном устройстве
в Карагандинской области Казахской АССР 15 000
польских и немецких хозяйств

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Возложить на НКВнудел СССР переселение и организацию поселений в Карагандинской области Казахской АССР для польских и немецких семейств, переселяемых из УССР в количестве 15 000 хозяйств – 45 000 человек, по типу существующих сельскохозяйственных трудпоселков НКВД.

Переселяемый контингент не ограничивается в гражданских правах и имеет право передвижения в пределах административного района расселения, но не имеет права выезда из места поселений.

2. Жилищно-хозяйственное и коммунально-бытовое строительство, а также сельскохозяйственное устрой-

ство контингента возложить на ГУЛАГ НКВД с привлечением сил и средств самих переселенцев.

3. Обязать Карагандинский областной исполнительный комитет в местах расселения переселенцев организовать поселковые советы.

4. Обязать НКЗем СССР немедленно закрепить за переселяемыми хозяйствами необходимые земфонды за счет земель Летовочного, Красноармейского и Тарангульского мясосовхозов системы НКСовхозов в Карагандинской области и произвести внутривладельческое землеустройство, немедленно командировав для этой цели в Казахстан потребное количество землеустроителей.

5. Разрешить НКСовхозов перевести скот Летовочного молмясосовхоза в Красноармейский, Тарангульский молмясосовхозы, обязав ГУЛАГ НКВД возместить НКСовхозов стоимость животноводческих построек и жилищ, остающихся в Летовочном молмясосовхозе.

6. Разрешить НКСовхозов в пределах этой суммы произвести в 1936 году строительство производственных и жилищных построек в Красноармейском и Тарангульском молмясосовхозах, сверх отпущенных капиталовложений на 1936 год.

7. Обязать НКЗем СССР не позднее III квартала 1936 года организовать на территории новых поселений три МТС.

Отпустить на организацию этих МТС 4500 тыс. рублей, в том числе 2170 тыс. рублей за счет плана капиталовложений НКЗема СССР на 1936 г. и 2330 тыс. руб. за счет резервного фонда СНК СССР.

8. Обязать НКТяжпром отгрузить не позднее 1 июля 1936 года для указанных МТС 30 тракторов ЧТЗ, 60 СТЗ,

12 автогрузовых машин ЗИС, 2 автоцистерны, 3 автомашины Пикап, 3 легковых автомашины, 6 локомотивов мощностью 75 и 57 сил со всеми прицепными орудиями и необходимым оборудованием для машинотракторных мастерских.

9. Возложить на Наркомздрав и НКПрос РСФСР по принадлежности организацию в поселках, содержание и обслуживание медико-санитарной сети и культурно-воспитательных учреждений, для чего обязать Наркомздрав и Наркомпрос РСФСР не позднее мая-июня месяцев 1936 года по согласованию с НКВД укомплектовать эти учреждения медицинским и педагогическо-воспитательным персоналом и необходимым оборудованием, пособиями, медикаментами.

10. Обязать СНК УССР весь скот, находящийся в индивидуальном пользовании выселяемых, отправлять вместе с выселяемыми хозяйствами в Казахстан.

Колхозы обязаны выделить выселяемым членам колхозов лошадей, приходящихся на их долю.

Посевы выселяемых единоличников передать местным колхозам по оценке РайЗО с немедленной уплатой стоимости этих посевов их владельцам.

С выселяемыми членами колхозов колхозы обязаны произвести полный расчет натурой и деньгами за все выработанные ими трудовые дни.

11. Обязать Госплан СССР, Наркомлес, Наркомтяжпром и НКМестпром РСФСР выделить и отгрузить НКВнуделу в течение 2 и 3 кварталов 1936 года равными частями следующие стройматериалы и оборудование:

Леса круглого	55 000 кбм
Леса пиленого	62 000 кбм
Жердей	9000 кбм
Гвоздей	250 тонн

Стекла	117 000 кв. м
Железа кровельного	19 тонн
Железа сортового	190 тонн
Проволоки	13 тонн
Клея столярного	14,0 тонн
Олифы	103 тонны
Краски разной	47 тонн
Белил	22 тонны
Толя	128 000 кв. м
Цементы	300 тонн
Фанеры	5490 кв. м
Труб железных	7 тонн
Шпалорезок	10 штук
Пил к шпалорезкам	30 штук
Инструмента	на 100 000 руб.
Печных приборов	560 тонн
Пакли	87 тонн
Войлока	34 тонны

12. Предложить ГУЛАГ НКВД при выполнении строительной программы в поселках особое внимание обратить на развертывание и поощрение строительства жилищ и надворных построек самими переселенцами, выделив для этой цели из отпускаемых фондов стройматериалы и средства, которые выдавать индивидуальным застройщикам как за наличный расчет, так и в порядке долгосрочной ссуды сроком до 8 лет.

13. Обязать Комитет заготовок сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР выделить ГУЛАГ НКВД в 1936 году по государственной заготовительной цене:

а) зерновых семян для выдачи в ссуду

переселенцам 3600 тонн

б) хлебофуражного зерна в ссуду 5000 тонн

Кроме того, отпустить Центросоюзу для свободной продажи поселенцам 4200 тонн муки и крупы.

Семенная и продфуражная ссуды должны быть выданы переселенцам на срок 3 года с возвратом равными частями, начиная с 1937 года; отпуск семян и продфуража произвести из зерна, подлежащего сдаче государству трудпоселками НКВД и МТС в Карагандинской области Казахской АССР.

14. Обязать Центросоюз организовать в новых поселках не позднее мая месяца 1936 года торговую сеть, обеспечив ее необходимыми товарами для продажи поселенцам (продовольствие, промтовары, обувь, хозобиход и проч.).

15. Обязать НКВнуторг СССР выделить Центросоюзу во 2, 3 и 4 кварталах 1936 г. для продажи поселенцам:

Масла растительного	150 тонн
Рыбы	1000 тонн
Мяса	200 тонн
Сахара	630 тонн
Промтоваров на	5 000 000 руб.

в т. ч.:

Эмалиров[анной] посуды	150 000 руб.
Оцинков[ованной] посуды	50 000 руб.

16. Обязать НКВнуторг СССР немедленно отпустить ГУЛАГ НКВД для временного расселения переселяемых 250 больших палаток.

17. Дома и хозяйственные постройки, построенные ГУЛАГом НКВД, передать сельхозартелям переселенцев в порядке долгосрочной ссуды на срок 8 лет. Оформление всех ссуд, выдаваемых сельхозартелям и отдельным переселенцам, возложить непосредственно на Сельхозбанк.

18. Сельхозартели, организуемые из переселенцев, в порядке настоящего постановления, и индивидуальные хозяйства переселенцев освободить от всех нало-

гов, сборов и поставок государству зерна, картофеля и продуктов животноводства сроком на 3 года, считая с 1937 года.

19. Предложить НКПС по заявкам НКВД произвести перевозку переселяемых семей и их имущества по льготному воинскому тарифу, обеспечив подачу подвижного состава по плану НКВД. Расчет за эти перевозки произвести с НКПС в централизованном порядке за счет отпускаемых на эти цели средств.

20. Определить затраты на проведение предусмотренных настоящим постановлением работ по переселению и хозяйственному устройству переселенцев в сумме 23 000 тыс. рублей, в том числе за счет:

а) резервного фонда СНК СССР в сумме 19 000 тыс. руб.;

б) сметы Всесоюзного Переселенческого Комитета при СНК СССР в сумме 1830,0 тыс. рублей;

в) плана капиталовложений НКЗема ССР на 1936 г. в сумме 2170 тыс. рублей.

*Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР
В. МОЛОТОВ*

*Зам. управляющего делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. МЕЖЛАУК*

Вн. УД СНК'С
д. № 200-44
2/ов. 28.IV.36

ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 486. Л. 116–120. Подлинник.

Марина Резонтова:

Аделина Францевна родилась 3 сентября 1947 года в упраздненной ныне Кокчетавской области, в селе Подольское Чкаловского района. Отец – Дворецкий Франц Григорьевич (Францышек Гжегович), поляк, католик по вероисповеданию, родился в 1916 году в селе Софиевка Киевской области Украины, село находилось на границе Польши и Украины. В селе проживали украинцы, поляки и немцы. В 2001 году он переехал к дочери Розалии в Ивано-Франковскую область, Надворнянский район, село Пасечная, там и умер в марте 2009 года. Францышек родом из зажиточной многодетной семьи (семеро детей), проучился в польской школе четыре года и, будучи еще подростком, пошел работать в поле, пасти коров и свиней, выполнял домашнюю физическую работу. По его воспоминаниям, отчий дом был небольшой, с белёными стенами и соломенной крышей. В главной комнате в правом дальнем углу находился «Святой угол», где висели на стене иконы «Дева Мария с младенцем на руках» и «Распятие Иисуса Христа». Угол украшался вышитыми рушниками. Рядом на столике, устланном белой скатертью, стояла свеча и лежала книга – «ксёнжка». Мать – Дворецкая (Железко) Тофиля Михайловна (1922–1977 гг.), родилась в соседнем селе Яблоневка Киевской области. Полька из католической семьи, после четырех классов польской школы, как и все девочки того поколения, бросила учебу и стала помогать матери. Еще в раннем детстве Тофиля научилась шить, вышивать крестом и гладью, вязать крючком кружева. Польские семьи в те времена были глубоко верующими. Каждый член семьи носил «кшыжик» – нательный деревянный крестик на льняном шнурке, знал и читал «Отче наш». По воскресеньям все ходили в Костёл на мессы. После мессы, при встрече с пожилыми людьми, маленькие девочки здоровались словами: «Нех бэндзе похвалены Езус Хрыстус», кланялись и целовали им руку. В лихолетье 1936 года, ранней весной, многие семьи

села Софиевка и окрестных деревень были раскулачены и отправлены в товарном эшелоне в далекий Казахстан. После тяжелого многодневного переезда, по прибытии, в бескрайней казахской степи вбили колышек и назвали свое новое место жительства «четвертая точка». Потом поставили большую палатку из брезента и всех поселили скопом. Начались болезни, смерти, голод. Вот в таких нечеловеческих условиях начинали жить раскулаченные переселенцы. К 1940 году из землянок «четвертой точки» выросла деревня Подольское. Выжившие люди приспособились, обжились и стали играть свадьбы. Именно тогда поженились родители Аделины, и вскоре у них родился первый сын, а всего в семье было десять детей. В 1941 году началась Великая Отечественная война, и в 1942 году отца забрали в трудовую армию в город Нижний Тагил. Все трудармейцы охраняли пленных немцев и строили заводы. Мама Аделины с сыном в это время жила с родителями в Подольском, так как молодая семья не успела обзавестись собственным домом. В 1946 году Франц Григорьевич вернулся из Нижнего Тагила, и сразу же его отправили работать на строящуюся молочную ферму в 70-ти километрах от села Подольское. Сначала он был учетчиком, потом ветеринаром, а в последние годы до 1955-го работал заведующим, пока ферму не закрыли. Вернувшись в 1955 году в Подольское, семья Дворецких наконец-то построила себе маленький домик на два хозяина. Одна стена была общая, вход в дом для каждой семьи отдельный. По воспоминаниям Аделины Францевны, в своей маленькой землянке пол мазали для красоты красной глиной, стены белили белой глиной. Вместо ковров на стены вешали сшивные полотна ткани. Сатиновые или ситцевые, яркие, красочные, назывались они «радюшки». Для украшения стола шили салфетки, а потом вышивали их крестом или гладью нитками х/б или мулине. На самодельные деревянные лежанки первое время клали и утрамбовывали солому, подушкой служила просто сложенная фуфайка, только в начале пятидесятых годов стали класть матрасы, набитые

соломой. Повседневная посуда была, в основном, глиняная. Кружки и ложки – деревянные. Позже появилась возможность купить алюминиевую и фаянсовую посуду. И стирали, и мылись в самодельном деревянном корыте – «нучёвка», воду носили в деревянном ведре – «цыберко». Аделине Францевне запомнился интересный момент – изготовление из стеклянной бутылки стеклянного стаканчика. Брали во много раз сложенную нитку (дратву), обмазывали гудроном и терли в нужном месте до сильного нагревания стекла, потом капали на это место холодную воду, и ненужная часть бутылки откалывалась. Острые края стаканчика аккуратно шлифовали. Всем детям хотелось пить именно из таких стаканчиков, это считалось шиком. В те давние времена, не имея сепараторов, поляки сами делали сметану вот таким способом. В глиняной кринке или трехлитровой банке ближе ко дну просверливали маленькую дырочку и плотно затыкали ее деревянной пробкой. Наливали молоко и ждали, чтобы немного скисло, потом вынимали пробку и обрат потихоньку сливали. В емкости оставалась густая сметана. Такое приспособление называлось «слоик». Аделина Францевна до сих пор любит готовить те блюда, которые готовила ее мама. О некоторых она рассказала. Суп «пытравка» готовили так: в готовый бульон из курицы или свинины клали картофель (нарезанный кубиками), затем добавляли пережаренную до золотистого цвета муку (несколько ложек) и вливали холодную воду. Затем этот суп заправляли пассерованным луком. «Лызанки»: замешивают тесто как на лапшу, раскатывают и режут на ромбики или квадратики. Варят в подсоленной воде и откидывают на дуршлаг. Эти кусочки теста заправляют пассерованным луком со свиным жиром. «Хрустики» напоминают хворост, а готовят их из теста, замешанного на домашнем кислом молоке с добавлением соды, соли, сахара и яйца. Дают тесту постоять в закрытой посуде около часа, затем раскатывают из него сочень и нарезают ромбиками с прорезями по центру. Один конец ромбика просовывают в разрез, и получается витуш-

ка, которую потом жарят в большом количестве жира, чтобы она полностью плавала в нем. «Хрустики» ели с молоком или чаем. Чай был раньше только самодельный: листья смородины, малины, вишни, клубники. В 1956 году всех членов семьи реабилитировали, и можно было поменять место жительства. Но только в 1961 году семья Дворецких переехала в Джамбульскую область, на станцию Чу. Отцу выделили кредит на строительство дома, и к середине шестидесятых годов семья начала комфортную жизнь в большом красивом доме с застекленной верандой и шторками на окнах под названием «фиранки». Отец стал работать поливщиком сахарной свеклы в колхозе. В 1965 году, после окончания школы, Аделина поехала учиться на повара в город Усть-Каменогорск. Жила на квартире, получала стипендию в размере 18 рублей и радовалась жизни. После окончания училища осталась в Усть-Каменогорске и стала работать поваром в столовой. В 1970 году вышла замуж за Зайченко Юрия Александровича (1944–1998 гг.). По происхождению: отец – поляк, мать – украинка. В 1977 году у них родился сын Андрей. В 1972 году перешла на работу в городское социальное обеспечение. С 1987 года стала работать прессовщицей пластмассы и резины, а позже литейщицей на Приборостроительном заводе. В декабре 1996 года попала под сокращение, не доработав один год до пенсии. С 1997 года вышла на пенсию по экологии, а с 2002 года получает дополнительное реабилитационное пособие. На сегодняшний день Аделина Францевна занимается внуками, у неё их двое: старший Данил, 2002 г. р. и внучка София, 2008 г. р. Вяжет на спицах для них детские вещи, вышивает гладью и крестиком салфетки и скатерти. Из большой семьи Дворецких сейчас в Северо-Казахстанской области проживают два брата и сестра, в Германии одна сестра, в Украине сестра, в г. Усть-Каменогорске – Аделина Францевна и младшая сестра Валентина. Наверное, каждый из них сохранил в своей памяти такие же воспоминания своего детства, а может, и еще что-то свое, особое, трепетное.

Елена Порсева:

Родилась я на Украине, в Киевской области, Емельчинском районе, в селе Ульяшевка в 1923 году. Девичья фамилия моя Котвица. Жили мы в то время хуторами. Мои родители – Петр и Лижбета – имели свою землю с лесом и лугом. Жили дружно – отец, мать, бабушка, я и младший братик Болеслав. Родители были крестьяне, обрабатывали землю, имели свой скот: корову, лошадей, кур. В 1927 году мой отец Петр Станиславович поехал в Польшу искать хорошее место, куда можно было переехать семьей. Но, возможно, что-то случилось в дороге, он не вернулся... А в 1929 году бабушку Котвицкого Станислава военные люди арестовали за неуплату продналога. Я сильно испугалась, спряталась за сараем, но бабушка меня нашел и попрощался. После ареста мы его больше не видели. Никто не знает, куда он пропал... Потом у нас забрали дом и все, что в нем находилось. Отбрали скот. Маму выслали за 100 км. Она работала под Киевом на стекольном заводе. А нас с братом забрала моя крестная. Если мама приходила повидать своих детей, через час ее уже увозили. Мы очень скучали за своей мамой, помню, как в 7 лет мне просто не хотелось жить... В 1933 году мы жили с бабушкой Цалковским Яном. Питались тем, что росло в лесу: ягодами, грибами. Иногда грибы меняли на какие-нибудь продукты. А крестная Драпиковская Павлина каждый день приносила нам молоко за 5 км. В школу я ходила в Тайки, через лес. В первом классе учили нас на польском языке, а затем на украинском. Чтобы как-то прожить, мама меня отдавала в чужие люди пасти скот и ухаживать за детьми. В 1936 году, во время репрессий, из нашего села Хмирин выслали 20 семей поляков в Казахстан без права переписки. Тайком мы привезли с собой иконы, распятие, молитвенник, рукописные песенники на польском языке. До Уштобе с мамой и братом ехали в товарных вагонах почти месяц. Мы оказались в селе Гавриловка в колхозе «Новый быт». Местные жители встретили переселенцев доброжелательно, помогали чем могли. Все мужчины были

на учете в комендатуре, ходили на отметку. Жили мы в землянках. Но вот началась война. Все, от мала до велика, работали в колхозе за трудовни, которые были очень тяжелыми. Поле пахали на быках. Так хотелось хлеба, но хлеб не давали, все для фронта. Помню, как мы вручную убирали ячменное поле – вырывали колоски с корешками... В 1943 году я вышла замуж за Багинского Антона Ивановича. Его семью тоже выслали в 1936 году из села Хмирин. С 14 лет он работал в колхозе «Новый быт». Его младшего брата Константина, 1924 года рождения, забрали в трудовой лагерь. Сначала работал в г. Текели, затем их вывезли в Караганду на шахты, и он пропал. Старшего брата Валерьяна в 1937 году забрали и расстреляли как политическое, хотя он был неграмотный и не умел писать. Всю войну мы с мужем проработали в колхозе. Антон работал в бригаде в горах на ферме, а я в звене на поле. Работали без выходных, от зари до заката на поле: пахали на быках, сеяли, пололи, серпами жали и подбирали колоски, затем молотили. До сих пор помню этот столб пыли от молотилки, дышать нечем... Выхаживали свеклу, на каждого давали норму по 1 гектару, убирали осенью до самого снега. Копали вручную копачами, специальными вилами грузили машину, садились сверху и ехали выгружать на сахарный завод. А как пели! Весело и с задором! А по ночам ухаживали за своим огородом. После войны в 1947 году мать с братом уехали жить на Украину. Мы с мужем остались жить в Талдыкоргане. В 1947 году у нас родился сынок Болеслав, затем в 1951 г. две дочери-двойняшки: Нина и Елена, а в 1954 г. – дочь Альвина. Семья очень дружная, верующая. Все дети имеют высшее образование. 6 внуков тоже получили высшее образование. А теперь еще у меня есть и 11 правнуков. Но в 50 лет я тяжело заболела, вынуждена была уйти на низкооплачиваемую легкую работу, где проработала до пенсии. Хочу рассказать о своем сыне, которым очень горжусь. Болеслав пошел в школу в 6 лет. Сразу были заметны его незаурядные способности к точным наукам. Первый ученик, председатель совета дружины, затем секретарь комсомольской организации... Гордость шко-

лы. Каждый год его награждали грамотой за отличную учебу и активное участие в жизни школы и города. А в 11 лет его, как лучшего ученика, город наградила поездкой в Москву на ВДНХ. Окончив школу с золотой медалью, Болеслав поехал поступать в Томск в Политехнический институт в кирзовых сапогах и фуфайке. Поступил и окончил с красным дипломом. Остался работать в этом же вузе на кафедре промышленной и медицинской электроники. Окончил аспирантуру. Последние 12 лет жизни был заведующим кафедрой. Профессор, член-корреспондент, Болеслав сделал немало: новое научное направление в сильноточной электронике, своя школа, 88 печатных работ, 3 монографии, 76 авторских свидетельств и патентов. Имел звание «Почетный работник высшего образования России», «Почетный изобретатель СССР». В Томске у него прекрасная, дружная семья. На протяжении всех лет, работая в вузе, с приемной комиссией приезжал в свой родной город Талдыкорган, где мы его с любовью ждали, для набора студентов в Томский политехнический институт. Приезжая в отчий дом, старался побольше сделать для нас. А какие у него золотые руки! За что ни возьмется, все ему по плечу – построить баню, положить кафель, провести свет, отремонтировать телевизор... 3 августа 2001 года он трагически погиб, ему было всего 54 года. Как нам его сегодня не хватает... Но у меня хорошие, заботливые дочери. Нина и Альвина со своими семьями живут в России, а Елена со мной. Своих дочерей я научила всему, что умею сама: шить, вышивать, вязать крючком и спицами, готовить. Мои дочки с семьями каждый год приезжают к нам в гости. Я благодарю Бога за свою жизнь, за хорошего мужа, с которым прожила 64 года, за прекрасных детей, внуков и правнуков и желаю всем вам долгих лет жизни, счастья и благополучия!

Об авторе

Писатель польского происхождения из Казахстана. Родился в семье советских инженеров – геологов в Алма-Ате. Окончил в 1997 году Казахский национальный университет имени аль-Фа-

раби по специальности химик-эколог. Работает над диссертацией по направлению культурология в Варминско-Мазурском университете города Ольштын, Польша.

Участвовал в форумах молодых писателей в Липках в 2006 и 2008 годах. Лауреат «Русской премии» в номинации «малая проза» в 2010 году за повесть «Destination. Дорожная пастораль», в 2014 году за повесть «Пражаки». «Казахстанские сказки» стали лучшей книгой на книжном фестивале «По Великому Шелковому пути» 2017 года в Алматы.

С 2012 года редактор журнала польской диаспоры в Казахстане «Almatyński Kurier Polonijny». В качестве журналиста сотрудничает с изданиями в Казахстане, в России и в Польше. С 2010 года работает преподавателем Открытой Литературной Школы Алматы. С октября 2016 года по март 2018 – главный редактор издания Esquire Kazakhstan.

Публикуется в литературных журналах «Простор», «Книголюб», «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Воздух», «День и ночь», «Новая юность», «Пролог», «Юность», Iowa Magazine, «Новая реальность», на литературном ресурсе «Literrатура», др.

Повесть «Пражаки» включена в программу открытой международной олимпиады школьников по русскому языку «Светозар».

Проза и стихи переведены на казахский, английский, польский, испанский, арабский, китайский языки.

Екатерина Кузнецова

Ветер времени сушит траву забвения

История Караганды тридцатых – это история становления знаменитого первенца сталинской пятилетки, «Третьей угольной кочегарки» страны, Карагандинского угольного бассейна и, одновременно, история возникновения и развития огромного советского «исправительно-трудового» концентрационного лагеря – Карлага ОГПУ-НКВД. Эти две вехи в летописи первого в мире социалистического государства накрепко спаяны друг с другом. Рассматривать становление Караганды как важнейшего экономического центра в отрыве от образованного на территории Центрального Казахстана крупнейшего сталинского концлагеря сегодня невозможно – первостроителями и шахт, и города как областного центра, были и привезенные в товарных эшелонах «раскулаченные» крестьяне из центральных и западных областей страны, так называемые спецпереселенцы, и ссыльные, и депортированные поляки, западные украинцы, немцы, финны опять же из центральных и западных областей СССР, и, само собой, заключенные Карлага. Первая интеллигенция этого края обязана своим становлением именно этим самым «врагам народа», в первую очередь, ссыльной интеллигенции из тех же центральных городов европейской части СССР.

Жестокие политические репрессии, развязанные в стране по личному почину Сталина, повсеместно отозвались большой болью и потерями для населения, как политическими, так научными и культурными, но особенно тяжело отозвались они именно в Казахстане, где треть населения выкосил организованный «родной коммунистической партией» голодомор в самом начале тридцатых годов, а прослойка интеллигенции в середине тех

же тридцатых была невелика и только начинала складываться – часть населения в процессе насильственной экспроприации скота и земли утдела за близкие и дальние рубежи, огромная часть погибла от голодомора. Интеллектуальные и морально-этические потери, несомненно, сказались и еще долго будут сказываться на памяти и менталитете населения, восстановление же и того, и другого происходит медленно и часто мучительно, тогда как уничтожение – процесс активный и единовременный, и разрушительный потенциал его огромен. Долгие годы все эти составляющие подлинной биографии степного края были покрыты саваном официальной лжи и умолчания, однако нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Сегодняшний наш разговор не о «героическом подвиге» первостроителей этой самой «Третьей угольной кочегарки». Не о тех нищих, изнуренных голодомором казахских бедняках, что из последних сил ползли в спасительную Караганду, чтобы найти крышу над головой, работу на шахте и гарантированную пайку липкого черного хлеба с миской жидкой баланды – пайку, позволяющую сохранить последние силы для выживания. И не о донбасских шахтерах, изнуренных организованным той же партией украинским голодомором, эшелонами завезенных в те годы в наши степные просторы для строительства угольных и прочих промышленных гигантов. Хотя и тут не обошлось без лжи...

Об этом времени сохранили воспоминания очевидцы, но годы безжалостно уводят их от нас, и все гуще и непроницаемее становится саван Времени, все более размытыми и отрывочными становятся воспоминания, все меньше и меньше остается и самих воспоминаний, все больше сомнений – интересны ли они, нужны ли...

Наш разговор о другом. О других. Осужденные без следствия и суда, брошенные за колючую проволоку советских концлагерей, они долгие десятилетия носили унижительное клеймо «врагов народа», погибали от непосильного труда и голода в душных застенках. О них, о тех, кто выжил, выстоял, вытерпел, кто выстроил города и заводы, проложил железные

дороги, кто добывал уголь в шахтных забоях, намывал золото в магаданском кошмаре – о них наш разговор. Они требуют Памяти. Справедливости. Уважения. И – Правды.

Успеть услышать, записать, сохранить и донести до нас зерна бесценных свидетельств очевидцев того страшного времени, которые и есть сама История, не сочиненная учеными в пыльных кабинетах, листающими бесконечные тома отсыревших документов в библиотечном безмолвии, а увиденная и пережитая лично в страданиях, радостях, потерях и обретениях теми, кому выпала доля все это перетерпеть. Успеть услышать, сохранить и донести до сегодняшних нас их память – и есть задача первостепенной важности. И Долг...

Сын донецкого шахтера Борис Афанасьевич Годунов рассказывал мне о тех годах, пережитых его семьей и им самим, тогда еще мальчишкой, с неизменным содроганием. Его детство, в котором было все – и долгая дорога из голодающей Украины в голодающий же Казахстан, и первое столкновение с государственной ложью, и знакомство со страной ГУЛАГ, – это уникальный опыт. Семи лет от роду попал он вместе с арестованным отцом в Карлаг, в Атбасарское лаготделение. Но его воспоминания интересны не только этим трагическим и по-своему уникальным фактом. Его семья была в числе тех самых донецких шахтеров-добровольцев, которых привезли в спецэшелонах в карагандинские степи для строительства новых и восстановления старых, еще построенных английскими колонизаторами шахт.

На заре тридцатых, когда и началось в соответствии с планом Первой сталинской пятилетки строительство Караганды как крупного промышленного центра, квалифицированных инженерных и горняцких кадров катастрофически не хватало. И на «усиление», как принято было в те годы называть этот процесс в газетах, были брошены из умирающей от голодомора Украины шахтеры и инженеры-донбассовцы.

Советская власть любила все свои силовые и принудительные манипуляции по массовым перевозкам населения с одного места на другое облекать в изящные формы «нескончаемого

энтузиазма». Не миновала эта участь и донецких шахтеров и инженеров, теперь называемых добровольцами. Впрочем, они ведь и на самом деле были добровольцами – накануне им, как вспоминал Годунов, показали пропагандистский документальный фильм: в теплых и солнечных казахских степях не по дням, а по часам растет чудо-город Караганда, и зовут туда на работу горячих и умелых молодых мужиков строить и осваивать казахстанские угольные шахты, богатство которых немеряно. И более чем через полвека (через всю, почитай, прожитую жизнь!) с горечью и грустью вспоминал Борис Афанасьевич тот документальный фильм (вот бы найти!), показанный шахтерам: каменные (из красного кирпича дореволюционного обжига!) красивые и удобные дома под черепичными крышами, пышные деревья, чистейшее степное озеро, по глади которого безмятежно скользил утиный выводок, небольшая речка с поросшими густым тальником берегами...

Какой счастливый, сытый и сказочный край! Голос Родины был не только услышан, но и принят за чистую монету, и загорелись глаза у изголодавшихся донбасских горняков, и потянулись они записываться в списки желающих ехать в новые края.

А как приехали...

Привезли их в голую серую степь. Станционная мазанка, вокруг – юрты, одна другой беднее. Недалеко и впрямь стоит двухэтажный красный кирпичный дом – но... один-единственный! Там вроде бы контора. Около него – три чахлах акации. Вот тебе и рай!

Надо ли говорить, что тогда, семилетним мальчишкой, Борис Годунов получил первый урок той вселенской советской государственной лжи, которой будет опутана позже вся его жизнь. Да только ли его? Отторгнутая от мира страна, плотно закрыв народу глаза на иную жизнь, победно гремела бесконечным славословием успехов и достижений. Одурманенный и загнанный народ, согнутый нуждой, голодом, страхом, в непосильном напряге пахал, сеял, строил, ютился в утлых, убогих жилищах, носил что придется, ел кое-как и мечтал о всеобщем

Счастье, обещанном большевиками, которое непременно будет, но пока отчего-то все не наступает и не наступает.

А жить надо было каждый день. И ждать. И терпеть. И выживать. Построили новые переселенцы для себя длинный саманный барак – какое-никакое, а жилье. Каждой семье дали по закутку, отделенному от соседей грязной тряпкой. Темными степными ночами и серыми утрами длинный сырой барак стонал, кашлял, матерился, хрипел, вздыхал и – терпел. В столовой в кривых, кое-как вымытых алюминиевых мисках давали жалкий обед и кусок сырого черного хлеба, который ему, мальчишке, запомнился как великое лакомство и небывалое счастье. Крошил он его на мелкие кусочки и не ел – сосал, как конфету, стараясь унять постоянный голод.

Вот из этого сырого темного барака его вместе с отцом и увели однажды в ночь люди в форменных фуражках. Но это уже совсем другая история. И случится она много позже, а пока... Пока встретила Караганда своих первых специалистов, как могла: дала кусок хлеба и крышу над головой. И на том спасибо.

Одновременно с шахтерскими эшелонами на маленькую степную станцию «Караганда-угольная» через всю страну, одолев долгий однообразный степной простор, прибывали и прибывали из России обворованные государством крестьяне-спецпереселенцы, по тогдашней терминологии – «кулаки-мироеды».

Останавливались эти эшелоны из товарных вагонов для перевозки скота, не доезжая до Караганды, на станции Карабас. Позже эту станцию назовут «воротами Карлага». Встречали их солдаты с овчарками. И растекались молчаливые хмурые люди в серых колоннах (по пять в ряд!) по бескрайней казахской степи, расползались по низким саманным баракам за колючей проволокой, по лаготделениям со сторожевыми вышками по углам. Так начинал одновременно с социалистической Карагандой свою долгую печальную историю советский «исправительно-трудовой» концлагерь ОГПУ-НКВД – Карлаг.

«Столицей» будущего лагеря стала Долинка, небольшое степное село в сорока километрах от города. Задолго до прихо-

да советской власти, почитай, с начала века, жили здесь в мире и согласии бок о бок русские и немецкие крестьяне, перебравшиеся в места эти еще по столыпинской реформе, да местное население – казахи.

«Столыпинские» крестьяне разводили огороды, сеяли хлеб, на степной траве выгуливали тучный рогатый скот, казахи пасли бесчисленное множество овец и лошадей, и текла жизнь в Долинке неспешно и мирно до определенного «исторического предела». Но и этот предел пережила Долинка на удивление спокойно, без потрясений...

Но грянули новые времена, и в одночасье вдруг пришел приказ: освободить территорию от населения, будет строиться лагерь. И появились в тихой и вчера еще уютной Долинке солдаты, закрутились по степи «спирали Бруно» из колючей проволоки, запестрела степь сторожевыми вышками, и потянулись чередой сначала серые ленты заключенных, а потом и длинные унылые саманные бараки...

* * *

Ранней весной в Долинке неуютно. Серо. Грустно. Одиноко. Потянул южный ветер, быстрее побежали облака в безбрежной весенней сини, зазеленела первая листва, и словно ковш солнечного света опрокинулся над селом и смыл этот недавний неуют. И Долинка преобразилась, окунулась в свежесть, словно умылась. А потом придет лето, жаркое, горячее, и улицы заснут в этом жаре, в мареве летнего безлюдья. Где-то зазвонит ведро у колодца, и голоса станут слышнее и звонче, и рассыплется мелкой дробью чей-то молодой смех...

И в доживающем век парке, под раскидистыми деревьями у давно высохшего фонтана перед бывшим Главным управлением бывшего Карлага НКВД особенно отчетливо будет потрескивать под подошвой сухая от жары трава. Трава забвения?

Осень принесет в Долинку покой. Золото и багрянец посаженных в начале двадцатых, тридцатых (а может, еще и рань-

ше!) деревьев, прозрачность воздуха, сизый дымок с огородов, одуряющая тишина и неподвижность разольются вокруг. А затем придет зима. И тогда...

И тогда в Долинке оживет прошлое. Зарытые в снег по самые крыши саманные бараки, колючая проволока ограждения, вышки с черными фигурками часовых – «попок», лай собак в ночной стуже. И голоса. Они гудят, шепчутся, стонут, смеются, вздыхают – это зимний ветер кружит память тех далеких лет.

А потом снова весна...

И круг времени замкнется.

Долинка – место не случайное. Это бывшая столица бывшего Карлага. Одного из самых больших островов архипелага ГУЛАГ.

В полутора часах езды отсюда – Караганда. Город обездоленных, ссыльных, раскулаченных, город зэков, город сломанных судеб. Такой была Караганда середины тридцатых.

Именно тогда, в мрачные годы политического террора в СССР, стала она центром огромного лагерного края, частью советской империи за колючей проволокой.

СПРАВКА

Карагандинский исправительно-трудовой лагерь ОГПУ-НКВД-МВД (Карлаг) был организован 19 декабря 1931 года на базе созданного в 1930 году КазИТлага ОГПУ, в документах называемого совхозом «Гигант». Первое отделение КазИТлага реорганизовали в Карагандинский отдельный исправительно-трудовой лагерь, именуемый сокращенно Карлагом ОГПУ-НКВД. В документах при сношении с другими ведомствами Карагандинский ИТЛ назывался Карагандинским совхозом НКВД.

Территория Карлага (при организации) была разбита на восемь отделений, площадь их составляла в

сумме 17129 квадратных километров. («Материалы к очеркам по истории Карлага НКВД СССР», 1934 г.).

Карлаг ОГПУ-НКВД-МВД просуществовал 28 лет и 27 июля 1959 года был реорганизован в УМЗ УМВД Карагандинской области.

Территория лагеря с севера на юг (Березняки-Кзыл-Тау) тянулась по прямой на 260 км, с севера на северо-запад (Березняки-Есенгельды) более чем на 100 км. Другая ветка хозяйства Карлага находилась на линии вдоль железной дороги Караганда-Моинты. Отдельные лагпункты были расположены далеко за пределами этих границ (Акмолинск, Рузаевка, по реке Чу, Балхаш, вокруг Джекказгана).

«Воротами» Карлага стала железнодорожная станция Карабас, именно здесь находилась главная лагерная пересылка. Колонны заключенных в сопровождении конвоиров и сторожевых собак – этапы, передвигались преимущественно пешком. Кто дошел – тот дошел. Кто не дошел – навсегда остался в степи...

Через год после образования численность контингента достигала 10400 человек, из них 8400 были заняты в сельскохозяйственном производстве. На 1 января 1934 года численность заключенных составляла 24 148 человек, на 1 января 1937 года – 27 504 человека, а на 1 октября 1938 года – уже 40 109 человек. Особенно быстро росло число заключенных в годы войны. На 1 июля 1941 года контингент составлял 39 513, на 1 января 1942 года уже 42 582, на 1 января 1943 года – 45 798 человек. Всего с декабря 1932 г. по 1 января 1959 г. через Карлаг прошло (ротацией) 990 852 человека, обреченных на рабский труд, голод, холод, унижения.

Большую часть из них составляли осужденные Тройками и ОСО НКВД по ст. 58 УК РСФСР – «враги народа», граждане СССР.

(ГУЛАГ. 1918–1960. Документы. Москва. 2002 г.)

* * *

В 1930–31 годах с территории будущего лагеря началось принудительное переселение жителей в другие районы области. Вместе с коренным населением русские, немцы, украинцы – давние переселенцы из центральной России – были выселены в Осакаровский, Ворошиловский, Нуринский районы.

Принудительное переселение – всегда трагедия для людей. Но в этой истории особенно трагичной видится судьба казахов. Их в короткий срок и с необыкновенной жестокостью выселили с вековых мест обитания, из маленьких степных аулов, разбросанных по всей территории будущего лагеря, не дав взять с собой даже необходимого и безжалостно отобрав скот. Для проведения этой операции привлекались войска НКВД.

Расселение совпало по времени с принудительной коллективизацией, раскулачиванием скотоводческих хозяйств, разорением аулов, конфискацией огромного количества скота, который, впрочем, в колхозах сохранить не сумели, и он в большинстве своем погиб от бескормицы. Да к тому же грянул джунт, который разломал, изувечил верхний слой почвы, словно какой-то великан истоптал многострадальную землю, превратив плодородный слой в безжизненный панцирь.

В степи разразился голод, и тысячи голодных, умирающих, лишенных крова людей устремились в Караганду...

Все это сопровождалось бесчисленным количеством арестов и расстрелов органами НКВД преимущественно коренного населения, от которого власть не без оснований ожидала неповиновения. И жестоко подавляла вспыхивавшие в степи очаги сопротивления...

СПРАВКА

Карлаг ОГПУ-НКВД (как и все подобные сталинские концлагеря) задумывался и существовал, как государство в государстве с автономными системами жизнеобеспечения – относительно развитым сельским

хозяйством, промышленностью, строительством. Были созданы строительные управления, конструкторские бюро, селекционные сельскохозяйственные станции, действовал учебный комбинат для подготовки кадров из числа заключенных. При управлении лагеря функционировали сельскохозяйственная опытная станция (СХОС) по растениеводству, научно-исследовательская станция (НИС) по животноводству. Обе станции имели свои экспериментальные базы. Действовала специальная экспедиция по нагулу крупного рогатого скота и овец.

Заключенные построили в Долинке промкомбинат, где выделывали кожи, шили полушубки, катали валенки. Их руками возведены стекольный, сахарный заводы, маслозавод, мясокомбинат, ремонтный завод, мельницы, пошивочные мастерские, овощесушилки.

В 1940 году в лагере было 12 мельниц, 9 крупорушек, 13 маслозаводов, один маслобойный завод, две сыроварни, 9 брынзоварен, 11 пунктов засолки овощей, одна бойня.

Карлаг имел разветвленное промышленное производство. К началу войны здесь работала каменно-угольная шахта с производительностью в 60 тысяч тонн угля, 10 кирпичных заводов с производительностью в 2 миллиона штук кирпича, 6 известковых карьеров, дающих 2800 тонн извести, деревообделочная мастерская, выпускавшая продукции на 1005 рублей. В лагере было 18 электростанций общей мощностью в 537,5 квт/часов. В Спасском отделении (с 1948 года – отделение Степлага) была подготовлена к пуску в 1941 году прядильно-ткацкая фабрика с производственной мощностью до двух миллионов пар варежек в год. Расположенное в Балхаше отделение лагеря выполняло подрядные работы по строительству медеплавильного завода. На строительстве было занято 650 заключенных.

В Акмолинском отделении лагеря (АЛЖИР) содержалось более 5 тысяч женщин – «членов семей изменников родины» (ЧСИР). Это были жены, сестры, матери арестованных и уже по большей части расстрелянных «врагов народа». Здесь работали швейно-вышивальная фабрика и ряд предприятий по переработке сельхозпродукции. На швейно-вышивальной фабрике были заняты 1100 заключенных женщин, фабрика выпускала продукции на 17 014 рублей в год.

А Долинка стала настоящей столицей этого невольничьего государства. В ней находились Главное управление лагеря, средняя школа, две больницы, клуб, библиотека, почта, лагерный суд, прокуратура, тюрьма и отделение Госбанка. И зловещий ОЧО – опер-чекистский отдел...

Лагерь жил своей автономной, отдельной и отделенной от страны жизнью. И одновременно был органической частью этой огромной страны, окруженной колючей проволокой, изолированной от всего мира. Страны, в которой почти в каждой семье кто-то был арестован, сослан или расстрелян.

* * *

За водоразделом, в степи, на огромном пространстве, расположенном между Долинским маслозаводом и поворотом дороги на Шахтинск, раскинулось бывшее лагерное кладбище. Оно давно заросло степной травой, и могил уже не различить. Да и границ у него нет – так оно велико. Именно здесь покоится прах десятков, сотен тысяч тех, кто был обозначен позорной кличкой «враг народа», кто и был этим народом, и кого отделила от этого народа смертная черта...

Безбрежна казахская степь. Скорбным саваном молчания накрыла она безымянные могилы, лишь ветер шевелит сухую, обожженную солнцем траву, что растет здесь островками – это островки скорби и памяти.

Сюда время от времени приезжают те, кого до сих пор тревожит прошлое. Тревожит Память. Приезжают со всех концов мира родственники бывших узников лагеря, журналисты, кинодокументалисты, историки из России, Украины, Польши, США, Англии, Германии. Люди приезжают в степную Долинку, чтобы увидеть. Приезжают почтить память тех, кто испил здесь свою горькую чашу до дна, кто остался навсегда в казахстанской земле.

...Ветер гонит по старому лагерному кладбищу золотые шары перекасти-поля. Они подпрыгивают на едва заметных холмиках, на секунду задерживаются, цепляясь за сухие серые островки, и несутся дальше, дальше. Унося от нас – что? Неужели память?

* * *

Этот документальный фильм для российского канала «Культура» снимала в Долинке киногруппа режиссера Марины Разбежкиной. Сегодня имя Разбежкиной в России широко известно, на одном из Московских кинофестивалей ее художественный фильм «Яр» номинировался на премию.

В те дни здесь, в Долинке, с киногруппой оказалась и героиня будущего фильма, от лица которой и велось киноповествование – Фарида Давлет-Кильди, инженер-спектрограф из Казани.

История ее непростой жизни накрепко связана с Долинкой. Родилась Фарида в Новосибирской пересыльной тюрьме. И вместе с матерью пошла по этапу. Мать Фариды, Рукия Давлет-Кильди, была арестована в Китае, в городе Мукдене (теперь Шеньян) советской контрразведкой СМЕРШ и вывезена в СССР как «перемещенное лицо», а затем осуждена без следствия, суда и приговора. Уже в тюрьме получила она свою 58-ю статью как «враг народа».

Там же, в Мукдене, СМЕРШем арестован был и ее муж, будущий отец Фариды, Ибрагим Давлет-Кильди, общественный деятель, журналист, издатель эмигрантской татарской газеты «Милли байрак». Ибрагима увезли в Мордовские лагеря,

где он и отбыл свой полный срок как «враг народа и татарский националист», а после лагеря был отправлен в ссылку в Красноярский край. Долгие десять лет прошли в разлуке, лишь после смерти Сталина семья смогла воссоединиться...

И вот через полвека Фарида опять в Долинке. В той самой Долинке, куда ее мать с грудным ребенком на руках привезли в пересыльном арестантском эшелоне, в той самой Долинке, где прошло ее горькое детство за колючей проволокой.

И время для нее остановилось...

Девочка из «мамочкиного городка» – яслей для самых маленьких обитателей, что был на лагерном отделении ЦПО (Центральное полеводческое отделение Карлага), снова, теперь уже немолодой женщиной, идет по тем же улицам, смотрит в то же небо, вспоминая и не вспоминая былое. За ее плечами – бесчисленные детские дома, долгие поиски родных и, наконец, долгожданная встреча и окончательное воссоединение с матерью и отцом, далекое красноярское таежное село. Целая жизнь. И в этой длинной жизни есть место и степной казахстанской Долинке. Именно здесь отбывала свой лагерный срок ее ни в чем не повинная мать. И вместе с матерью отбывала здесь свой лагерный срок едва родившаяся малышка Фарида...

Встреча с прошлым для Фарида Ибрагимовны тяжела. Вместе с киногруппой она проехала по местам, где пролет крестный путь ее родителей. Повторила его более чем через полвека шаг за шагом.

Лагеря. Тюрьмы. Ссылки...

Четыре вечера подряд по каналу «Культура» шел в конце девяностых-начале двухтысячных этот документальный фильм Марины Разбежкиной – «История одной семьи». История не только семьи. История народа...

А в середине «нулевых», ранней весной, приехала сюда, в казахскую степь, еще одна московская киногруппа – Светлана Быченко снимала документальный фильм об истории жизни своего родственника. И фильм получился опять о Долинке.

Именно здесь пересекались пути героев двух документальных фильмов российских кинорежиссеров последнего, уже постперестроечного поколения. Значит, тема не умерла – интерес к родной истории все же будоражит честные и любознательные умы России.

Вот так в Долинку возвращается ее прошлое...

Долинская Голгофа не отпускает от себя.

* * *

О прошлом сегодня здесь мало что напоминает. Исчезли саманный барак опер-чекистского отдела, клуб, построенный руками заключенных, старая средняя школа – тоже одноэтажный саманный барак, в которой вместе учились, сидя бок о бок, дети надзор-состава и «врагов народа», отбывших срок и оставленных в лагере «до особого распоряжения», вырублен некогда ухоженный парк перед Главным управлением лагеря. Да и само здание Главного управления выглядит сегодня уже не так, как в былые времена, когда блистало оно среди зелени парка своей первозданной белизной. Теперь здесь Музей памяти жертв политических репрессий. Бараки, в которых коротали свои недолгие жизни заключенные, давно перестроены, прилеплены к ним крылечки, заменены крыши – плоские саманные на европейские двускатные, вставлены новые евроорамы в оконные проемы...

Время безжалостно. Оно стирает многое.

Но остается Память.

И от нее не убежишь...

И во имя этой Памяти проторили сюда тропы люди со всего мира – россияне, немцы, американцы, израильтяне, французы, финны, поляки, корейцы, японцы – кто только не побывал здесь за годы гласности, когда после перестроечного порыва генсека КПСС М.С. Горбачева вдруг с ужасающей откровенностью явилась миру подлинная история СССР. История не только великих строек, свершений и побед, патриотизма и энтузиазма народа, беспримерного его героизма и терпения, но

и скорбная история огромной империи за колючей проволокой по имени ГУЛАГ.

Кто-то здесь ищет следы родных, кто-то хочет вспомнить проведенную в этих краях юность, кого-то гонит сюда любопытство, кого-то – сострадание...

* * *

Здесь и встречала я в день открытия Музея гостью из Москвы, Татьяну Ивановну Никольскую. Она вместе с братом-близнецом родилась в 1941 году в Долинке, как написано в свидетельстве о ее рождении, в том самом «мамочкином домике» – лагерном роддоме на ЦПО, который лепился стена к стене к лагерным же яслям. Брат не прожил долго, и его могилка затерялась среди таких же, теперь уже безымянных, только помеченных криво сваренными из обрезков металлических уголков крестами на «мамочкином кладбище» на повороте от Долинки к бывшему ЦПО. Теперь это детское кладбище – место многочисленных посещений тех, кто приезжает сюда за Памятью...

А у нее, Татьяны Ивановны Никольской, от той поры детства в Долинке сохранились только ощущения: «Есть все время хотелось, и было очень холодно»...

Более чем полвека спустя потянуло из Москвы теперь уже пенсионерку, бывшего работника Госбанка СССР, в казахскую степь только затем, чтобы увидеть эти места, уже не очень для нее памятные, затянутые дымкой пережитого и прожитого.

Мать моей гостьи, Ксения Ивановна Никольская, была в свое время арестована в Москве как ЧСИР, муж ее был расстрелян в 1937-ом там же, по месту ареста, в столице СССР, как «враг народа». В лагере в 1941 году родилась у Ксении Ивановны двойня, мальчик и девочка...

Татьяна Ивановна Никольская, решившись на нелегкое путешествие в Долинку, стала одной из многих сотен людей, что приезжают сюда со всех концов бывшего СССР.

* * *

Теперь вернусь к воспоминаниям Бориса Афанасьевича Годунова. Того самого Годунова, о котором говорила выше. Это его с семьей привезли сюда из Донбасса на заре становления Третьей угольной кочегарки, обманув этих людей, шахтеров, как всегда, посулив «рай» и сделав на всю оставшуюся жизнь свидетелями самой Истории. Той самой Истории, от которой так долго и стыдливо пряталась советская пропаганда, той самой Истории, которая наконец обнажила перед всем миром горькое свое лицо. Лицо Правды, от которой, как и от Времени, не убежать...

То ли кому каморка Годуновых приглянулась, то ли еще по какой причине, но попал Афанасий Федорович, отец семилетнего Бориса, в жернова сталинских политических репрессий. Но о политике-то как раз люди эти и знать ничего не знали – не до политики было, выживали...

А в ту памятную ночь маленького Бориса с отцом и сгребли. И повезли в «стольпинском» вагонзаке на север. Дотащили до станции Атбасар. Лагерь. Вернее, лагерное отделение. Вышки. Собаки, как волки, злые. Солдаты с оружием. Матперемат. И вдруг обнаружилось – а Годунов-то с мальчонкой! Куда мальчика? Отца в зону, а мальчика – за зону. Но не отпустили. Как бы сослали. Ссылного ребенка (!) определили на постой к «вольняшке», вольнонаемной. И пошел он в Атбасаре в первый свой школьный класс.

Отца маленький сосланный то ли узник, то ли неизвестно кто, не видел: на рассвете, еще по темноте, строили колонну и вели эзков на карьер под хрип собак и окрики конвоя, назад приводили тоже затемно. Два года отсидел отец за «колючкой», и отпустили его за примерный труд домой, в Караганду. В 35-ом НКВД еще не так лютовало в Казахстане, как будет в 37-ом.

Осенью 37-го опять Афанасия Годунова взяли. Увели в тюрьму под зеленой крышей, что стояла недалеко от красного

дома в Старом городе. Днем к щелям в дощатом заборе тюрьмы преникали детвора да бабы – высматривали своих отцов и мужей. Утром из ворот конвой выводил этап – шли арестованные нестройно, пыля подошвами. А как пройдет этап (куда вели – никто не знал. Не вели – уводили!), мальцы в пыли подбирают скомканные клочки бумаги – записки с адресами: в надежде, что кто-нибудь семье передаст весточку, бросали несчастные арестанты бумажки эти в пыль. Да мало кто по адресам тем ходил, весточку передавал – боялись.

Так в один из хмурых сентябрьских утренников увели в арестантской колонне и Афанасия Федоровича Годунова. Увели навсегда...

СПРАВКА

Афанасий Федорович Годунов, 1902 г. рождения, образование незаконченное высшее, белорус, уроженец Могилевского округа, инструктор по техминимуму карагандинской шахты № 2 был приговорен «тройкой» УНКВД 20 сентября 1937 года по ст. 58-10 к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор привели в исполнение в Караганде через несколько дней, о чем есть запись в «Книге скорби. Расстрельные списки», вышедшей из печати в 1997 году. Карагандинский областной суд реабилитировал Афанасия Федоровича Годунова 26 февраля 1957 года «за отсутствием состава преступления».

А что стало с семьей? Семью выгнали из общежития на улицу. Приютил их шахтер, что работал с Афанасием Федоровичем на одной шахте, многолетний казах Тусуп Кузембаев (имя его сегодня носит одна из крупнейших шахт Карагандинского бассейна). Приютил с риском для жизни – стукни кто из соседей, не сносить головы было и самому Тусупу. Но промолчали соседи. И тем спасли семью расстрелянного «врага народа» Афанасия Федоровича Годунова.

Так что выжили тот мальчишка русский с сестрой. Давно уж ушла из жизни их мать, простилась Караганда и со знатыным шахтером Тусупом Кузембаевым. Состарился и Борис Афанасьевич. И, оглядываясь на прожитое и пережитое, так и не находит ответа – за что?

* * *

...Правда нагнала Долинку в середине 80-х. В ту осень нашим проводником по заповедным зонам бывшего Карлага НКВД был Хеймо Раутеайнен, канадский финн, отбывший здесь срок как «враг народа» и в конце 80-х вчистую реабилитированный как невинно пострадавший.

Как и Джозеф Глазер, еще один иностранный узник Степлага, выходец из Трансвааля, привезенный отцом-коммунистом в СССР в первые послереволюционные годы и арестованный в 1937-ом как «враг народа», о котором сняли свой пронзительный документальный фильм журналисты ВВС (*«Те, кто выйдут отсюда, навеки родные» – авт.*), Хеймо тоже был привезен отцом, простым рабочим человеком, владельцем маленькой скобяной мастерской в Канаде, по убеждениям – сочувствующим коммунистам и решившимся на переезд в СССР, чтобы своими глазами увидеть «новый мир».

И увидел. В середине 30-х сочувствующий коммунистам канадский рабочий был арестован НКВД, как «шпион и диверсант», а затем очутился в тюремной камере и его подросток к 1942-му году сын Хеймо. Как и отец, он получил 58-10, статью из УК РСФСР, обрекавшую его на пожизненное клеймо «враг народа».

Срок у Хеймо вышел длинный, отхлебнул он из этой горькой чаши полный глоток. И когда совсем уж ноги его не носили, и похож он стал от лагерного труда и баланды на тень, отправили его в лаготделение Корум умирать – к пеллагрикам. И он дошел, доплелся в сером безликом строю до Корума. Два

барака, кухня, мертвецкая и колодец – теперь все это ушло в прошлое, и следа не осталось.

Недалеко от теперешнего Шахтинска лежит степное корумовское кладбище. Молодой Хеймо рыл там могилы для «врагов народа». Так он «перевоспитывался трудом», как писали в своих отчетах карлаговские начальники, циничным этим эвфемизмом обозначая рабский труд.

И вот через полвека нашел он это кладбище и водил нас с кинодокументалистом из Латвии Геннадием Земелем по степи, только ему открывающей страшное свое прошлое...

Хеймо выжил. Выжил всем смертям назло благодаря своей молодости, финской закалке и канадской вере в конечную справедливость.

И теперь мы с ним колесили по бывшим отделениям Карлага и слушали его горький рассказ.

* * *

Сколько их было в те годы – тех, кто хотел знать, помнить. Кто хотел видеть. Кто хотел думать и понимать...

В те годы в Долинку ехали в основном сами бывшие «сидельцы» и их дети. Побывали здесь и Гарик Острин, артист московского театра «Современник», и Феликс Патрунов, известный ученый-географ из Москвы, член Всесоюзного географического общества, автор многих книг о разных странах.

Их привели сюда воспоминания юности. У обоих отбывали свои лагерные сроки как ЧСИР («член семьи изменника родины») матери. Сроки заключения у матерей закончились в 1946 году, но из лагеря их не отпускали по приказу Берия «до особого распоряжения», однако сыновьям разрешили приехать, и мальчишки жили рядом с матерями в барачных закусках, учились в знаменитой Долинской школе.

Феликс Патрунов приезжал в Караганду несколько раз, он и привез мне воспоминания своей матери и копию ее «Дела арестованного» из архива бывшего ГУЛАГа в Москве, а с

Остриным мы встретились повторно (через 20 лет после первой встречи!) на открытии Мемориала жертвам сталинских репрессий в Астане, в бывшем АЛЖИРе.

А тогда, в 1989-ом, я с ними ездила в Долинку, все было еще узнаваемо, еще живо в памяти, и они рассказывали: «Вот тут была школа, а это клуб, в нем была отличная библиотека, а это больница для заключенных, здесь работал профессор-кардиолог, бывший министр здравоохранения РСФСР, «враг народа» Колесников...»

После августа 1991 года потянулись сюда иностранные корреспонденты, и на кино и телеэкранах, на газетных полосах всего мира замелькало слово Dolinka.

Из «Daily Mail» приехала Миранда Инграм, приехал Робин Найт, корреспондент «U.S. News» – оба из Лондона, их живо интересовала судьба Хеймо Раутеайнена. Тоже сразу – в Долинку.

Микаэл Йордан из Словакии, профессор Адам Добронски из Польши (Варшава), Анна Петрачек, журналистка с Польского ТВ, Бруно Макс Виллиамс из «The Chronicle of Higher Education».

С кем только не ездили мы в Долинку в те годы, кто только не фотографировал бывшее Главное управление Карлага, не топтал досок в его коридорах, травы в заросшем парке перед зданием...

Я перечисляю далеко не всех, кого привело в наши края отнюдь не простое любопытство, а профессиональное желание в полный голос рассказать миру о постигшей советский народ трагедии с тем, чтобы не дать ей повториться вновь.

Со многими из тех, кого я упомянула, связаны интереснейшие истории, встречи, курьезы.

Немецкая журналистка Кристина Линк снимала здесь документальный фильм о двух очень уже немолодых немках, чьи мужья, работники Коминтерна, нашедшие в начале тридцатых приют в СССР после прихода Гитлера к власти в Германии, были сначала арестованы в Москве НКВД, а по-

том выданы советской властью Гитлеру и им уже на родине, в Германии, уничтожены. А жены, оставшиеся в Москве, в знаменитом Доме на набережной, были арестованы и отправлены на восемь лет в Карлаг, где отбывали свой срок как ЧСИР.

Обе – Платайс и Зибенайхер, одной за восемьдесят, другая чуть моложе – исколесили казахстанскую степь, побывав сначала в акмолинской тогда еще Малиновке (бывший АЛЖИР), потом в Долинке, поднимались на вертолете, бесстрашно в самую пиковую летнюю жару проходили пешком маршруты бывших этапов, поражая меня и продюсера будущего фильма, молодого москвича Замира (фамилия его уже забылась) своей выносливостью и отличной памятью. Мы сумели даже найти дом в Майкудуке, где снимали комнатку наши гости после освобождения из Карлага, до своего отъезда в шестидесятых в Германию. А Кристина Линк ничтоже сумняшея «зарилила» даже в облуправление КГБ на Советском (ныне Бухар-жырау) проспекте, где под отчаянный вопль «смотрящего» у проходной, презрев все условности и правила тех лет, запечатлела на пленку своей кинокамеры «светлый образ» создателя ВЧК, чей бюст тогда еще украшал вестибюль ведомства. Однако кончилось все благополучно, в ведомстве нашлись (как всегда!) умные люди, хозяева оказались вполне политкорректными и радушными (это же был еще конец перестроечных восьмидесятых!), нашли общий язык с незваной гостьей и пришли к консенсусу. И даже тепло и доброжелательно они – работники КГБ новой формации и бывшие узницы знаменитого АЛЖИРа – распрощались друг с другом на пороге, словно бы старые друзья, чем нас с Замиром повергли в совершенный шок...

* * *

Интерес к той, уже перевернутой, но не забытой странице нашей общей истории до сих пор сохраняется. И не только у нас, на далеком Западе или еще дальше, но и в России.

Георгий Иванович Левин, бывший узник Карлага, был арестован в 1934 году как «враг народа», прошел весь срок, все выдержал и выжил, а после реабилитации остался в Караганде. И жил здесь еще долгие годы.

Привезенный сюда этапом из московской Бутырской тюрьмы, он видел Долинку цветущим оазисом в пустыне, который создавался на его глазах руками эзков, бесправных советских рабов, «врагов народа», которые и были этим самым народом.

Георгий Иванович рассказывал, что до сих пор шумящие тополиные рощи были посажены и выращены благодаря гигантской оросительной системе, множеству магистральных и разводящих оросительных каналов, которые питались обширнейшим Джартасским водохранилищем с высокой искусственной плотиной. Все это проектировали, строили и обслуживали сотни и тысячи заключенных. Строительство этого гидротехнического комплекса велось в тяжелейших условиях, можно сказать, что стоит он на костях невольников.

До ареста Георгий Иванович был картографом, и именно ему принадлежит авторство создания первой карты Карлага. Георгий Иванович рассказывал мне, что первая его карта Карлага красовалась на стене в кабинете тогдашнего начальника лагеря, старшего лейтенанта ГБ О.Г. Линаина. Красуется она и сейчас в одном из залов Музея в Долинке.

Как выглядела Долинка в то время? Вся южная часть, по воспоминаниям Георгия Ивановича, все ее три параллельные улицы, были перерезаны двойным рядом колючей проволоки. Это и была зона 19-ДКО (Долинского комендантского отделения), в которой находились и автобаза, и промкомбинат, и учебный комбинат, и другие учреждения.

А на выезде из поселка на нынешнюю дорогу Шахтинск – Караганда была еще одна большая жилая зона – ДКО-2.

На западе поселка, за рекой Чурубай-Нура, была еще и третья зона – жилая и производственная – РМЗ (ремонтно-механический завод).

Не огражденная колючей проволокой территория, где жило начальство, была в Долинке совсем небольшой.

Почти напротив Главного управления лагеря, рядом с бывшей поселковой столовой, за саманной стеной и натянутой поверх нее колючей проволокой, располагался «квартал ОЧО» (оперативно-чекистского отдела). Здесь была своя маленькая тюрьма и длинное, барачного типа, здание, где и находились следователи и другие работники отдела. Сюда привозили со всех отделений Карлага заключенных, которым давали дополнительные лагерные сроки, чинили над ними «закрытый суд». Отсюда же приговоренных к высшей мере (по повторному приговору!) отвозили на то самое лагерное кладбище, что протянулось до самого Шахтинска, и там исполняли приговор...

Клуб в Долинке был, но не для заключенных. А опять же для «верхушки» управления лагеря, для чего и содержались в 19-ДКО артисты из числа «врагов народа». На сцене этого клуба пела русские народные песни бесследно исчезнувшая позднее замечательная Антонина Иванова. Тембр голоса и манера исполнения ее были похожи на тембр и манеру Лидии Руслановой, может, оттого и родилась легенда о том, что Русланова, якобы, «сидела в Карлаге и петь отказывалась, мол, соловей в клетке не поет». Это – только легенда и не более. О Карлаге вообще много легенд, а в последнее время на смену им пришли откровенные выдумки – история уводит нас от правды так же, как в свое время прятала от нас правду советская пропаганда.

Цыганские романсы под аккомпанемент созданного ею же цыганского ансамбля пела на сцене карлаговского клуба и Нина Вадимовна Перешкольник (позже – лагерная жена А.Л. Чижевского). Лагерная сцена видела многих знаменитостей, об этом уже написано немало.

В зоне для заключенных был маленький саманный клуб, где бригада артистов репетировала свои выступления для поселкового клуба, изредка выступая и для живущих в зоне...

Такой запомнилась Долинка середины 30-х бывшему «врагу народа», инженеру и честному человеку, ни в чем перед наро-

дом и родиной не виноватому, как и родители Фариды Давлет-Кильди, и тысячи и миллионы других, Георгию Ивановичу Левину.

* * *

...А на моей памяти Долинка шестидесятых-семидесятых была привлекательна для карагандинцев своими превосходными ягодниками, огородами, в нее ездили горожане за природными дарами, а уж местные огурчики «прямо с грядки» были несомненными победителями всех огуречных «рейтингов» тех времен.

В эти годы в Долинке работали геологические изыскательские партии, в нескольких километрах от нее выросла громадная современная шахта, словом, жила Долинка и ни от кого не таилась. Никаких «кордонов» и «спецпропусков» здесь не было и в помине, и мог сюда свободно прикатить всяк и за всяким делом, да и просто так, по житейской надобности, прикупить отменных сельхозпродуктов, молочка, сметаны, творожка с частного подворья.

После Карлага здесь остались отлично организованные «врагами народа» высшей квалификации, бывшими академиками ВАСХНИЛ, специалистами заповедников Аскания-Нова, Абрау-Дюрсо, приговоренными к огромным срокам по ст. 58 УК РСФСР, сельхозпроизводства, молочный завод, сыроварня, опытная СХОС. Продукция местных сельхозпроизводителей спросом пользовалась отменным. Да и жили и трудились здесь еще в первое десятилетие после того, как закончилась скорбная биография Карлага, десятки специалистов высокого класса, они и лечили, и учили, и выращивали, и перерабатывали. Словом, в шестидесятые-семидесятые годы Долинка была местом никак не режимным.

В Долинку горожане порой ездили просто отдохнуть, подышать свежим воздухом. Между совхозом «Карагандинский» (бывшее Центральное полеводческое отделение Карлага –

ЦПО) и Долинкой, в благодатном месте, среди фруктовых садов и ягодников повыврастали в шестидесятые-семидесятые годы известные «обкомовские» дачи. А курсанты тогдашней Высшей школы милиции проводили здесь сборы в своих летних лагерях. Карагандинские школьники отдыхали в Долинке и ее окрестностях (тоже бывшие лаготделения, а позже совхозы) в прекрасных пионерских лагерях.

* * *

Интересно, помнили бы Долинку, знали бы ее в мире, если бы...

Кстати, насчет «в мире» – не преувеличение. Сегодня Долинку действительно знают во всем мире. Знают как столицу печально известного «острова архипелага ГУЛАГ» – Карлага НКВД – одного из крупных сталинских концлагерей, стыдливо именуемых в документах тех лет «исправительно-трудовыми лагерями», в которых методами «исправления» были избраны голод, непосильный труд и смерть.

Сегодняшняя Долинка еще хранит неведомые нам тайны, и никому не известно, откроет ли она их до конца. Но и того, что знаем мы о ней, более чем достаточно.

А ветер времени все сушит и сушит траву забвения...

Об авторе

Екатерина Кузнецова – журналист, исследователь истории Карлага, автор книг о Карлаге НКВД «Карлаг: по обе стороны колючки», «Карлаг: меченые одной метой» и «Кровавый тридцать седьмой. Репрессированный Казахстан», которые, помимо Казахстана, также были изданы в России и США.

Александра Цай

Между забвением и памятью

«И все же приходится констатировать, что при всей ее ненадежности именно память делает человека человеком».

Алейда Ассманн

«Что я могу помнить, мне было три года. Помню, что попали мы в поселение под Петропавловском, зимой холодно было. Помню, как через несколько лет ходили в город, в школу пешком, иногда покупали с сестрой конфеты – рачетки, вкусные они были. Шли назад и их жевали, дурачились».

Зинаида Огай

«В 1937 году мне было три года, мало что запомнил. Поезд? Ну да, долго ехали. Помню, что останавливались на станциях, иногда подолгу стояли, но там всегда вода была теплая, мы выбегали и пили теплую воду, или это был чай».

Герасим Шегай

Когда я впервые приехала в Сеул, друзья повели меня посмотреть местные достопримечательности, и среди них оказалась традиционная корейская деревня, странным образом сохранившаяся в центре мегаполиса, населенного футуристическими высотками. Как выяснилось позже, деревня не сохранилась, а была воссоздана, выстроена вновь во второй половине двадцатого века, после освобождения от японской оккупации, после разделения Кореи на Северную и Южную. Мы прошли че-

рез невысокие деревянные ворота, вошли в дворики. Небольшие дома с низкими столами, сидеть за которыми нужно, подогнув под себя ноги, миниатюрные тумбочки, большие печки во дворах. Чем дальше я гуляла по этой деревне, тем сильнее охватывало меня странное чувство, которое настагает на границе сна и яви, когда ты еще не совсем проснулась, и ускользящий сон таит в очертаниях реальных предметов, и остаются только смутные воспоминания. Дома выстроенной для туристов корейской деревни, устройство их внутренних двориков, особенно печка с большим котлом, будили мои детские воспоминания, напоминали мне о доме моей бабушки, о такой же глиняной печке с чугунным казаном. Тот дом был и похож на эти дома в традиционной корейской деревне в центре Сеула, и не похож одновременно. «Когда ты теряешь один дом, ты хочешь воссоздать его в другом месте, а строительным материалом служат твои воспоминания», – подумалось мне. И я еще долго гуляла по улочкам деревни, отыскивая знакомые черты.

Историческая справка

Советские корейцы были одной из первых групп в Советском Союзе, подвергшейся массовой депортации по этническому признаку, вслед за корейцами через депортацию прошли поволжские немцы, поляки, крымские татары, курды, чеченцы. Осенью 1937 года, после постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 21 августа 1937 г. «О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края», подписанного В. Молотовым и И. Сталиным, более 172 тысяч человек были насильно переселены в Узбекистан и Казахстан, из них около 98 тысяч человек оказались в Казахстане¹. В постановлении указывалось, что депор-

¹ *Ким Г.* История иммиграции корейцев. Книга первая. Вторая половина 19 в. – 1945 г. – Алматы: Дайк-Пресс, 1999.

тация была выбрана в качестве превентивной меры против пресечения шпионажа в пользу Японии. Депортация осуществлялась в короткие сроки, к зиме 1938 года все корейцы должны были быть переселены с Дальнего Востока. Людям давали несколько дней на сборы, никто не объяснял причин выселения, не назывался конечный пункт назначения, само «путешествие» в товарных вагонах затягивалось на месяцы, поезда подолгу стояли на станциях.

«Значит, это было в 1937 году, хороший солнечный день был в первой декаде сентября, числа 10. Когда объявили, отец пришел и сказал, что скоро придут, и поехал за родителями. Сестра тогда у меня была, ей было 16 лет, мне тогда было лет девять, и еще два брата было и мать. Домашних вещей почему-то много было, целая машина. Пришли сослуживцы отца, они это всё сложили, правда, времени очень мало дали на сборы, 24 часа всего. Мать успела курей привязать, все, что смогла – прихватила, сослуживцы очень добрые были, сухарей нам дали, хлеба. Нас погрузили, привезли на станцию, началась посадка, а отца все не было. Мы сидели, мать не знала, что делать. Все кинулись в эшелоны, так в товарняки грузились, по головам лезут туда.

Вечером появился отец. Отец приехал со своим отцом, то есть моим дедом, со своей мамой и младшим братом. Дед наш очень был образованным, он дважды был раскулачен. Во время коллективизации жил в Посьете, в селе он был одним из грамотнейших людей, был купцом, как мне мама рассказывает. У него одного в селе дом был покрыт оцинкованным железом, у всех солома была на крыше. И его раскулачили, и выслали в Тигровку, и в Тигровке его несколько раз пытались вытянуть в колхоз, но он так и не вступил в колхоз, остался на хуторе, занимался огородом, курей, свиней держал, у него хозяйство было огромное, и он второй раз там все оставил, взял документы, семью, а хозяйство осталось. Говорили, что будет компенсация, но не состоялась она.

Как рассказывают, многие эшелоны просто в степи выбрасывали. Наш эшелон более организованно встретили. Высадили не в степи, привезли на станцию, встретили, правда, мы ехали, как набитые селетки, но тепло было. Нас, как помню, привезли на станцию «Сортировка» в Караганде, в угольный регион. Ехали мы с середины сентября по 7 ноября, почти два месяца мы ехали в товарняке. Когда привезли на станцию «Сортировка», там был распределительный пункт, нас привезли в совхоз Свердлов, он где-то километрах в 8–10, привезли на машине, клуб огромный, набитый людьми, и оттуда в течение недели на санях увозили корейцев в разные совхозы. Был тогда ноябрь, снег уже лежал. Отец, он ходил, ходил и остался главным бухгалтером в этом совхозе. И нам дали маленькую комнатушку на 11 человек в этом же клубе, только с другой стороны. И так мы оказались в Казахстане»¹.

Карагандинский фотограф Валерий Калиев записал воспоминания трех человек, которые детьми были депортированы в Казахстан. В тех воспоминаниях и во многих других, которые я слышала или читала, мало обвинений, но неизменны рассказы о трудностях, о лишениях и о пугающей неизвестности – людей переселяли без объяснения причин, лишали дома и обжитых территорий, а после запрещали говорить о депортации, требовать справедливости или официальных объяснений. Непонимание причин кары, которая внезапно обрушилась на целую этническую группу, подозрения в шпионаже и «клеймо предателей» усугубляли трудное положение людей. Насильственное переселение, лишение дома, переезд в товарняках и ощущение себя преступниками, предателями, которым не предъявлено никаких обвинений, но в отношении которых исполнено суровое наказание, добавляли душевных страданий к тем лишениям и тяжелым физическим условиям,

¹ Юрий Тимофеевич Ким рассказывает о своих воспоминаниях в арт-проекте Валерия Калиева, показанном впервые на выставке «Жоктау: Территория памяти».

с которыми столкнулись люди. А наказание было суровым. Пока сознание одолевали вопросы и страх перед неизвестностью, тела людей были заточены в замкнутом пространстве товарных вагонов, где было тесно, грязно, темно. Спали на циновках; чтобы обособиться, семьи делали перегородки из занавесок. «Еды было мало, мы ели сухари и тья¹, намазывали его, как масло на хлеб», – рассказывает Михаил Гвак, которому было 17 лет на момент депортации². Многие заболели в пути, труднее всего переезд давался маленьким детям и пожилым людям. Точное число погибших во время многонедельного переезда в грузовых эшелонах неизвестно, исследователи озвучивают цифры от нескольких тысяч до 25 тысяч человек³. Умерших зачастую хоронили вдоль железной дороги. Безымянные бугорки земли, молчаливые свидетели переселения народов...

Справка из архива (1)⁴

**Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1428-326сс
«О выселении корейского населения пограничных
районов Дальневосточного края»**

21.08.1937

*Совершенно секретно
(Особая папка)*

¹ Соевая паста.

² Интервью автора, 2018, 29 октября.

³ *Songmo, Kh. Koreans in Soviet Central Asia*. – Helsinki: Finnish Oriental Society, 1987, p. 17.

⁴ Впервые: Родина, № 10, 1992. С. 58. Со ссылкой: ЦА ФСБ. Фрагменты (только п. 1 и 2). Впервые полностью: Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий: В 2 ч. / под ред. Г.Ф. Весновской. Курск: ГУИПП «Курск», 1999. Ч. I. С. 237–238.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1428-326сс
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
и Центрального Комитета ВКП(б)

21 августа 1937 г.
Москва, Кремль

О выселении корейского населения пограничных районов
Дальневосточного края

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и
Центральный Комитет ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:

В целях пресечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный край провести следующие мероприятия:

1. Предложить Дальневосточному крайкому ВКП(б), крайисполкому и УНКВД Дальневосточного края выселить все корейское население пограничных районов Дальневосточного края: Посьетского, Молотовского, Гродековского, Ханкайского, Хорольского, Черниговского, Спасского, Шмаковского, Постышевского, Бикинского, Вяземского, Хабаровского, Суй-фунского, Кировского, Калининского, Лазо, Свободненского, Благовещенского, Тамбовского, Михайловского, Архаринского, Сталинского и Блюхерово и переселить в Южноказахстанскую область, в районы Аральского моря и Балхаша и Узбекскую ССР.

Выселение начать с Посьетского района и прилегающих к Гродеково районов.

2. К выселению приступить немедленно и закончить к 1 января 1938 года.

3. Подлежащим переселению корейцам разрешить при переселении брать с собою имущество, хозяйственный инвентарь и живность.

4. Возместить переселяемым стоимость оставляемого ими движимого и недвижимого имущества и посевов.

5. Не чинить препятствий переселяемым корейцам к выезду, при желании, за границу, допуская упрощенный порядок перехода границы.

6. Наркомвнуделу СССР принять меры против возможных эксцессов и беспорядков со стороны корейцев, в связи с выселением.

7. Обязать Совнаркомы Казахской ССР и Узбекской ССР немедленно определить районы и пункты вселения и наметить мероприятия, обеспечивающие хозяйственное состояние на новых местах переселяемых, оказав им нужное содействие.

8. Обязать НКПС обеспечить своевременную подачу вагонов по заявкам Далькрайисполкома для перевозки переселяемых корейцев и их имущества из Дальневосточного края в Казахскую ССР и Узбекскую ССР.

9. Обязать Далькрайком ВКП(б) и Далькрайисполком в трехдневный срок сообщить количество подлежащих выселению хозяйств и человек.

10. Увеличить количество пограничных войск на 3 тысячи человек для уплотнения охраны границы в районах, из которых переселяются корейцы.

11. Разрешить Наркомвнуделу СССР разместить пограничников в освобождаемых помещениях корейцев.

Секретарь Центрального Комитета ВКП(б)
И. СТАЛИН

Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР В. МОЛОТОВ

ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1в. Д. 497. Л. 27–28.

По прибытии корейцев расселяли в южные области сельской местности Казахстана, больше всего корейских семей определили на три массива юга – приток реки Чиили, где к ноябрю 1937 года было расселено 2,5 тысяч хозяйств, приток реки Черке или Кызыл-Ординский район и Джусалинский массив.

Одно из первых поселений, которое принято считать зимовкой первых корейцев в Казахстане, находится в семи километрах от Уштобе. Пустынная местность, где в землянках, следы от которых еще видны на земле, перезимовали семьи депортированных с Дальнего Востока. Сейчас на горе Бастобе стоит памятник в память о той зиме и находится кладбище. Я была в Уштобе в октябре, в солнечный ясный день. До места первого поселения нужно было добираться на машине минут 15. Оно было в стороне от города, в то время – от небольшой железнодорожной станции. Вокруг невысокой горы или холма – степь, бескрайняя, пленительно красивая в октябрьский день, но легко представить, насколько пугающая для депортированных холодной поздней осенью и ранней зимой.

Первые несколько лет в Казахстане были особенно трудными для переселенцев. Местные власти не были подготовлены к расселению большого количества людей, их распределяли в только что созданные корейские колхозы, первую зиму жили в землянках, потом начинали строить жилища. Не хватало еды, одежды. «Не было ни одной семьи, в которой не умер бы ребенок, ни одной, – рассказывает жительница Уштобе, – родители иногда рассказывали о первых годах в Казахстане, и в глазах у них стояли слезы. Им было больно вспоминать».

Справка из архива (2)¹

**Письмо переселенцев-корейцев председателю СНК
СССР В.М. Молотову о нетерпимом положении
на новом месте жительства**

Кармакчинский р-н 25 февраля 1938 г.

Мы колхозники переселенцы-корейцы проживавшие до последнего время не сколько десятков лет на ДВК ни одного малейшего сопротивления и с бодром настрое-

¹ Из историй депортаций в Казахстан 1935–1939, сборник документов. – Алматы: ЛЕМ, 2015. С. 279–280.

нием переселяли на Казахстану, т.к. этот мероприятия было принята нашим родным советским правительством и мы понимали по рассказу и объяснению руководителей партийных и советских органов Кировского р-на Уссурийской область ДВК, что наши переселение связана с значением вопроса оборотнасть способность СССР на востоке и улучшение поднятением национальный культур и быта, который затрудняли на ДВК, ввиду слишком разбросанности жизни в разных уголках ДВК. Поэтому мы были глубоко уверены в том, что с прибытием на месте в Козахстану, должна находить обеспечение жилищных помещений и работы. Но на сегодняшнего день мы имеем инное полодение, которую мы хотим к вам доложить.

Мы от ДВК уже равно полгода и сейчас находжус в Кармакчинском р-не Кзыл-Ординской область Козахстанской ССР, на котором полагається в дальнейшем развиваться в громадную рисовую плантацию.

Мы колхозники «Красный Октябрь» в себе объединено 10 хозяйство в который имеется 800 душ, во время отъезда от ДВК дали все производство хлеба на корнях в государству в количестве по [предварительному] определению 2500 центнера, рабочий скот за лошадей 79 голов и три автомашина и прочих, всего на сумму хлебом 102500 руб. и разного имуществом 105200 руб., которую по обязательству руководителей партийных советских органов мы должны получить натурой по прибытием на месте, но мы до последнего дня имеем абсолютно другой картину.

Мы уже в Кармакчинском р-не проживая 5 месяцев на камышевыее полей, еще не получили никакой тягловой силы: ни скота, ни машины, но потому приходится всякую тяжелую работу перевозки дров на топливо и даже школьных дрова перевозит на спине колхозников, и мы до сегодня время не получили никакой материальной помощи: ни деньги и ни хлеба, поэтому мы стали жить абсолютно без средствами и крайне тяжелая. Нам

этот положение создают, несмотря на имевшего десятков обещаний Кармакчинского районного руководителя в том, что будут выдавать продссуды три центнера муки и 300 руб. ссуды для приобретения домашней инвентарей колхозников.

Особенно для нас нетерпимое положение это [то, что] уже несмотря на 25 февраля с.г., нам не определили участки, особенно не имеет никакой подготовки к весеннее сева, отсюда не которая часть наших колхозники начинается волноваться.

Поэтому если мы обратимся к председателю РИКа и секретарю РК ВКП (б) Капмакчинского р-на, то они нам отвечают, что «мы не знаю, это дело начальника переселенческого пункта», а начальник переселенческого пункта нет уже около 20 дней. Поэтому перед нами явно грозит опасность срыва посева, который для нас колхозников-корейцев трудолюбивцев является основе кольцо улучшений для наши жизнь.

Мы трудящиеся корейцы колхозники считаемся согласно конституций СССР и Казахстанской полноправным гражданам, надеясь Вам родным председателю Совета Народным Комиссаров рабоче-крестьянского Правительства, что Вы распорядили до нашего районного руководителя, чтобы перестроили отношение к нам, и особенно нам обеспечили подготовку к весенней сева. И ждем от Вас ответ на нашей просьбе в самое кратчайшее время на адрес Ст. Джалагаш Южно-Казахстанской обл. Кармакчинского р-на 19 аул, правление колхоз «Красный Октябрь».

Подпись по поручению общего собрания к/кор.

Члены правления:

Лян Сеюр, Цюй Кен-су, Пак Инбом, Огай Кенхо,
Хегай Гиреен, Ли Снухи, Пак Сен-нер

ЦГА РК. Ф. 1987. Оп.1. Д.8. Л.210-212. Рукопись.

Легко догадаться, что это письмо и вопросы, поднимаемые в нем, остались без ответа. Советская власть не любила давать объяснения, она принимала решения и исполняла приговоры. Долгие годы людям не разрешалось требовать объяснений, и затянувшаяся тишина, невозможность узнать о причинах насильственных действий, невозможность потребовать справедливости тоже были инструментами тоталитарного режима. Государство не просто отбирало у человека контроль над своими перемещениями, над своей жизнью, оно показывало, что право лишить дома и даровать дом принадлежит ему, государственному аппарату, который подавлял волю людей и ковал из них лояльных советских граждан.

Если в советское время обсуждение депортации, ее причин и ее правомерности были под запретом, то после развала Советского Союза в 1990-х годах начали появляться книги и монографии, в которых ученые, исследователи и представители диаспоры восстанавливали исторический нарратив, работали с архивными документами, чтобы рассказать о засекреченных ранее фактах, исследовать тему насильственных сталинских депортаций, появления корейцев и многих других этнических групп в Средней Азии. В то же время важно говорить не только о воссоздании исторического нарратива, об описании исторического события, но и о том, какое значение это событие и коллективный травматический опыт имели для социальной группы, смогла ли зарубцеваться историческая травма, или ее последствия все еще существуют в ткани жизни общества.

Коллективный травматический опыт, через который прошли депортированные переселенцы, состоит из нескольких слоев. Прежде всего, корейцы подверглись насилию со стороны государственного аппарата, переселению, лишению дома и всего имущества. Людей отправляли на неизвестную для них территорию, как отправляют в ссылку, на необустроенные земли Казахстана и Узбекистана. В течение нескольких лет у них не было возможности и права покинуть колхозы, в которые их определили, не было права перемещения, выбора места жи-

тельства. Люди были брошены в суровые условия, в которых нужно было выживать самим и бороться за выживание членов своих семей. Холодные зимы в наспех сооруженных землянках и бараках, дефицит продуктов, незнакомая местность и новый климат. Но к лишениям физическим примешивалась еще коллективная психологическая рана. Люди столкнулись с карой государственного аппарата без совершения какого-либо преступления. До них лишь доносились слухи о том, что правительство считает их потенциальными предателями и поэтому прибегло к такой мере. В то же время режим предлагал возможность «оправдаться» через труд, необходимый ему же, через строительство социалистической утопии, которой требовались трудовые ресурсы в сельском хозяйстве и на индустриальных стройках. От «сомнительного прошлого» предлагалось избавиться через строительство социалистического будущего. Людям предлагалось принять свою судьбу и трудиться на большой социалистической стройке. В тот период у депортированных корейцев не было выбора, выживание требовало забвения, но спустя годы и через поколения, в изменившихся условиях, память о депортации и появлении корейцев в Средней Азии продолжает существовать, более того, она требует активного внимания в настоящем.

Казахстан – пространство памяти?

Современный Казахстан – пространство исторической травмы и пространство памяти. Коллективная память об исторических травмах живет в физическом пространстве в виде мемориалов, таких как мемориал погибшим корейским переселенцам зимой 1937–1938 годов, в виде музеев, как музей узникам АЛЖИРа, Акмолинского лагеря жен изменников родины, или музей Карлага, которые находятся на местах бывших лагерей, но коллективная память также присутствует в сознательной и бессознательной жизни общества, иногда она прорывается через общественные дискуссии, обсуждения или художественные практики.

Впервые термин «коллективная память» описал французский социолог Морис Хальбвакс в 1920-х годах прошлого века. Хальбвакс использовал социологический метод для анализа и изучения рамок внутри общества, которые влияют на память о прошлом, общую для целой группы, социальных рамок, которые также способны менять индивидуальные воспоминания и восприятие личного опыта в определенной ситуации. Люди живут внутри общества, и так же они «помнят». Хальбвакс утверждал, что в зависимости от общественной памяти человек способен менять и свои личные воспоминания о том или ином событии¹.

В 1980-х годах в западных академических кругах произошел «бум памяти», который вернул на академическую повестку дня исследования французского социолога о коллективной памяти. Исследователи и ученые из разных академических областей, от культурной социологии до литературоведения, развивали, критиковали и отрицали понятие «коллективной памяти». Наиболее радикальная позиция была представлена немецким историком Райнхартом Козелликом, который отрицал саму концепцию коллективной памяти, утверждая, что человек может помнить только то, что пережил сам. В то же время в 1980-х годах появились ученые и исследователи, работающие в социальных науках, которые занялись изучением коллективного сознательного групп – памяти и воображения, роли символов и символического в создании сообществ. Социальное воображаемое и символическое Жака Лакана, воображаемые сообщества Бенедикта Андерсона и коллективная память как общая память, характерная для определенной группы и выраженная в практиках памяти, ритуалах, историях и символах, – все эти концепции описывают создание сообществ и их границ не только в физическом, но и в воображаемом, символическом пространстве. Границы сообществ, наций очерчивают не только границы территории, которую они населяют, но и воображаемое, символическое поле, которое включает

¹ *Halbwachs, M. On Collective Memory / trans. by Loius Coser. – Chicago: University of Chicago Press, 1992.*

в себя историю создания или появления сообщества, легенды и мифы, лежащие в основе любой страны, города или общины, общие победы и поражения в прошлом, трагедии, через которые пришлось пройти, преступления, о которых хочется молчать. Воображаемые или исторические явления и события, которые связывают сообщества и группы.

Многочисленные исследования коллективной памяти выявили такие разновидности этого явления, как культурная память, коммуникативная память, «официальная» память и память «народная», то есть память, которая противостоит официальной или государственной политике, пытающейся подчинить себе, инструментализировать и использовать коллективную память о тех или иных исторических событиях для политических целей сегодняшнего дня. Государственные преступления, конфликты, приведшие к массовым жертвам, некоторые исторические события ставят этические вопросы перед обществом в настоящем. Алейда Ассман, немецкий историк, культуролог и исследователь памяти, одним из ключевых вопросов для обращения с травматическим прошлым называет «Помнить или забыть?» Помнить или забыть гражданские войны, массовые убийства, государственные преступления? По словам Ассман, существует несколько способов обращения с подобными событиями – диалогическое забвение; помнить, чтобы никогда не забывать, помнить ради преодоления, диалогическое памятование¹. Сторонники забвения говорят о том, что память, например, в случае ситуации после гражданской войны, может разжигать ненависть, а забвение может умиротворить стороны и послужить основой для воссоединения. В свою очередь, Алейда Ассман приводит и другие голоса, а именно Ханну Арндт, которая в «Истоках тоталитаризма» писала о необходимости этически-мотивированной памяти как форме защиты прав человека в ответ на появление «абсолютной формы зла» в виде тоталитарного государства². По словам Арндт, травматическое

¹ Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / пер. Б. Хлебникова. – Москва: Новое литературное обозрение, 2016.

² Там же.

прошлое, унаследованное от века массового насилия, не изгладится само собой, напротив, это прошлое потребует от нас еще значительного ретроспективного внимания: сознательного принятия того бремени, которое возложил на нас наш век¹. Этически-мотивированная память сохраняет знание о зле, которое было причинено в прошлом, о боли, о насилии, о смертях. Память о жертвах и о преступлениях необходима для терапевтического эффекта «преодоления» прошлого и этического долга, который служит основой для будущей интеграции и может стать условием сохранения прав человека: помнить, чтобы никогда не забывать.

Исследования о коллективной и индивидуальной памяти ставят еще один вопрос: «Кто помнит?» Профессор сравнительной литературы Колумбийского университета Марианна Хирш в начале 1990-х годов ввела в академическую литературу термин «пост-память» в связи со своей работой по анализу «воспоминаний» и памяти детей тех, кто выжил в Холокосте. «Пост-память» характерна для поколения «после», для детей поколения, которое прошло через историческую травму, через тяжелый коллективный опыт, опыт, который пост-поколение «помнит» по рассказам тех, с кем они выросли. «Пост-память» передается не только через воспоминания и рассказы, но и через то, о чем молчали в семье, через привычки и паттерны поведения, через реакции на опасность. Хирш говорит о «присвоении памяти», о том, что травматичный опыт и воспоминания передавались пост-поколению в такой эмоциональной форме и проникли так глубоко в сознание, что в какой-то мере стали их собственными воспоминаниями². Один из ключевых аспектов «пост-памяти» – это внутрисемейная передача памяти. Эмоциональная и духовная связь с членами семьи настолько близкая и глубокая, что человек присваивает себе часть воспоминаний той группы, к которой он принадлежит. Во многом пространство памяти в Казахстане – это пространство пост-па-

¹ *Ассман А.* Новое недовольство мемориальной культурой.

² *Hirsch, M.* The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust. – New York: Columbia University Press, 2012.

мяти, это семейные истории, рассказанные родителями, бабушками и дедушками, истории появления семьи в Казахстане, которые в тысячах случаев были связаны с насильственными переселениями, раскулачиваниями, государственными репрессиями.

Концепция «пост-памяти» перекликается с коммуникативной памятью, о которой пишет немецкий ученый-египтолог Ян Ассман¹. Коммуникативная память – это память, которая передается «из уст в уста», через общение между поколениями и людьми, она возникает в среде пространственной близости, регулярного общения. У нее есть темпоральный горизонт в 80-100 лет или три-четыре поколения, у нее нет фундамента или основы в культуре или в более широких практиках памяти, ритуалах, и постепенно, со сменой поколений, такое памятование уходит в область забвения. Ян и Алейда Ассманы также вводят понятие культурной памяти, которая истоками уходит в область культуры. Горизонт культурной памяти очерчен важными точками, вехами истории, судьбоносными событиями прошлого, память о которых хранится в культурных формациях, таких как письменность, тексты, ритуалы, монументы, и в институциональной коммуникации, практиках памяти, коммеморации². Письменность, книги, тексты очень важны для сохранения и существования культурной памяти. Ассман видит культурную память как дальнейшее освобождение того, что Гегель называл «свободной жизнью духа», как основу для преодоления идентичности, которая делает человека частью небольшой группы, преодоления ради принятия принадлежности себя к большему сообществу, к человечеству³. Такая утопическая форма памятования, по Ассману, способна привести к памяти о зле и насилии, которое было причинено во имя идентичности и принадлежности человека к одной группе

¹ *Assmann, J. Collective Memory and Cultural Identity // New German Critique, no. 65, 1995, p. 125–133.*

² *Ibid.*

³ *Assmann, J. Religion and Cultural Memory: Ten Studies / Trans. by Rodney Livingstone. – Stanford, CA: Stanford University Press, 2006, p. 23.*

или сообществу против другой группы или сообщества, память о боли, которая настигла «другую сторону», память о тех, кто пострадал от «нас», память во имя универсальных и всеобщих человеческих ценностей. Если коллективная память может быть инструментализирована ради политической повестки и ограничивает индивида, то культурная память более аморфная, более древняя и свободная, она менее подвержена политическим лозунгам и в то же время более утопична, направлена в сторону неограниченного будущего и идеала человечества вне национальных границ.

Память после забвения

Память в Казахстане – это пространство, отвоеванное у забвения, у забвения вынужденного и искусственно создаваемого. Тишина, которая сопровождала преступления сталинского режима, государственная цензура и невозможность общественной дискуссии по вопросам переселения народов и этнических групп, переосмысление государственных репрессий, жертвы ГУЛАГа и Карлага, человеческие жертвы, которые были вызваны политиками коллективизации и индустриализации, – такая государственная политика долгие годы была направлена на забвение, на стирание имен, лиц, целых судеб. Этически мотивированная память требует от нас возвращать имена, воссоздавать истории, помнить о людях и судьбах, помнить, чтобы не забывать, помнить, чтобы через памятование понять причины тех событий и создать условия их не-повторения. После тишины и забвения возвращение памяти – это форма активизма, политическое высказывание, беньяминовская попытка вырвать вещи и явления из континуума истории, дабы изменить ее и будущее. Работа с памятью, с переосмыслением и преодолением травм прошлого в Казахстане предстоит большая, и действия исследователей, историков, художников, писателей создают платформу для социальных и культурных практик памяти о страшном периоде государственного насилия, которое выразилось в разных формах.

Собирая воспоминания о депортации тех, кто детьми попал в Казахстан, читая записанные воспоминания, сталкиваешься с тем, что люди сохраняют в памяти светлые моменты, что картины смерти и болезней перемежаются в их рассказах с теплым чаем, с красивым видом из окон поезда. Детское сознание защищает себя и «выталкивает» опыт, с которым оно не в силах справиться. Но невозможность говорить о трудностях переезда, о боли, которую испытали люди, лишившись дома, вызвана не только защитными реакциями психологического аппарата. Социальный строй не позволял оплакивать погибших и предаваться боли утрат и потерь. Выживание требовало лояльности, требовало подчинения логике режима, логике утопии, направленной вперед, к социалистическому идеалу. Покинутый дом, пропавших близких предлагалось оставить позади, забыть и направить свой взгляд, усилие воли и мысли вперед, к созданию нового мира.

Светлана Бойм, ученый, писательница и художник, писала, что двадцатый век начался с утопии и закончился ностальгией¹. Ностальгии, плача по утраченному было так мало внутри утопического мышления, подчиненного движению вперед.

Бойм описывает ностальгию как тоску по дому, которого больше нет или который никогда не существовал. Она подмечает, что ностальгия – это «чувство утраты и изгнания, но также это и роман с собственным воображением». Ностальгия всегда двойственна: прошлое и настоящее, здесь и там, мечта и окружающая действительность. Бойм красиво свела воедино концепцию реставрационной и рефлексивной ностальгии, объясняя реставрационную ностальгию попыткой исторически восстановить утерянный дом. Рефлексивная ностальгия делает упор на тоску саму по себе и откладывает возвращение домой. Рефлексивная ностальгия «обитает в неопределенностях людской тоски и принадлежности и не прячется от противоре-

¹ *Бойм, S. Nostalgia and Its Discontents // Hedgehog Review, no. 9, 2007, p. 7.*

чий современности». Это чувство потерянного времени, тоска по чему-то, что прошло и чего больше не существует или не существовало вовсе. Это чувство утраты, выходящее за рамки времени, и чувство зачастую более настоящее, нежели само то, что было утрачено.

Ностальгия, отложенный плач по утраченному – необходимая практика после периода молчания, полосы забвения. Искусство может стать терапевтическим инструментом, который необходим обществу для вскрытия старых ран, возвращения к болевым точкам, оплакивания жертв. Интересной здесь может быть работа с фотографией как медиумом памяти. У Виктора Ана, фотографа, родившегося в Узбекистане в конце 40-х годов, есть серия фотографий, начатая в 90-х годах – «Деревня уходящая». Виктор много снимал жизнь корейских колхозов в Узбекистане для газетных заметок в советское время и после развала Советского Союза. Тогда жизнь в деревнях и колхозах начала стремительно меняться. В 1990-х годах развитие городской жизни и широкомасштабное переселение людей из деревни в город привели к медленному запустению деревень и изменили уклад жизни их обитателей. Особое расположение домов, семейные традиции и ритуалы, рецепты еды, привезенные еще первым поколением советских корейцев, – все изменилось с течением времени, и Ан запечатлевает метафизику перемен; его работа – почти работа этнографа, который описывает людей, предметы и обычаи среднеазиатских корейцев, к которому он принадлежит сам. И это чувство принадлежности наполняет его работы лиричностью, добавляя еще одну линзу в объектив его камеры, линзу ностальгии и поиска потерянного или исчезнувшего физического и духовного места, которое когда-то являлось домом. Ан преимущественно работает с черно-белыми снимками, черно-белая гамма является посланником прошлого, она увеличивает расстояние между реальностью и изображенными сценами, показывая то, что здесь и уже не здесь, что реально и уже нет. В его работах «Старый клуб», «Ушедшие корейские технологии» звучат нотки грусти,

более глубокой, чем грусть сиюминутной утраты. Это знакомое чувство ностальгии по дому, черты которого они стремились сохранить – в предметах мебели, в амулетах, в блюдах традиционной кухни, но ветер прогресса уносит историю вперед, и фотография становится не просто документом эпохи, но и инструментом битвы с забвением. Меланхолия, способная сделать преходящее вечным.

Знаменитый венгерско-французский фотограф Брассаи в своей книге «Пруст в силе фотографии» писал, что фотография была рождена из векового желания остановить мгновение, вырвать его из потока продолжительности, чтобы закрепить его навсегда в некотором подобии вечности¹. Поймать прошедший миг, победить в битве против времени, запомнить момент и все, что неминуемо сгинет, – для этого и существует фотография. Фотограф Брассаи видит изображение – не фильм, а именно кадр – свидетельством произошедших изменений, ушедшей эпохи, старения. Вальтер Беньямин определяет фотографию как изображение, описывающее природу истории, изображение, которое ловит и удерживает миг между «катастрофой ушедшего и желанием остановить мгновение настолько чудесное, что оно способно разбудить мертвеца и собрать воедино все, что было разбито. Но ураган резко поднимается в Раю, и на своих крыльях он несет жестокость, которой не положить конец даже ангелам. Ураган неминуемо несется в будущее, до которого ему нет дела, а куча обломков на его пути стремится ввысь. Имя этому урагану – прогресс»². Фотография, документ изменений, разрушитель непрерывности, способна запечатлеть битву двух противоборствующих сил – оставленного позади прошлого, которое все еще требует внимания, и будущего, которое надвигается неуклонно, неминуемо.

¹ *Brassai. Proust in the Power of Photography / Trans. by Howard R. – Chicago: University of Chicago Press, 2001, p. 9.*

² *Benjamin, W. On the Concept of History // Selected Writings 1938–1940 / Trans. by Edmund Jephcott. – Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1996, p. 6.*

Воспоминания, которые приведены в начале эссе, были собраны карагандинским фотографом Валерием Калиевым для выставки «Жоктау: Территория памяти». В своей работе Валерий соединил фотопортреты рассказчиков с аудиозаписями их историй. Серия фотографий сопровождается голосами людей, которые рассказывают о своих детских воспоминаниях, о депортации, о первых годах в Казахстане. Фотограф здесь восстанавливает маленькие человеческие судьбы, дает слово тем, кто помнит и может рассказать, и эти простые человеческие истории сохраняют память в обществе о большой трагедии.

Помнить после периода навязанного забвения – это критическая позиция, акт воли, акт с социальным и культурным значением. Взгляд назад здесь и жест морально-этического характера: помнить, чтобы не забывать тех, кто невинно пострадал, кто был несправедливо обвинен, кто пал жертвой системы и режима, и жест интеллектуальный: помнить, чтобы понять, осознать логику режима, его идеологию, мотивы и последствия его политики. Взгляд назад в этом случае – это этический выбор в пользу будущего, которое требует от нас критической чуткости ко злу, переосмысления и преодоления преступлений, боли потерь, ран и зла, которым был полон долгий предыдущий век.

Об авторе

Александра Цай, культуролог, куратор, выпускница университета Уорвик в Великобритании. Интересуется современным искусством и возможностью искусства осмыслять и рефлексировать над событиями и явлениями, происходящими в общественной жизни. Проходила научные стажировки в университете Новая школа и университете Джорджа Вашингтона, основатель проекта «Open Mind».

Литература

Ассманн А. Новое недовольство мемориальной культурой / Пер. Б. Хлебникова. – Москва: Новое литературное обозрение, 2016.

Ким Г. История иммиграции корейцев. Книга первая. Вторая половина 19 в. – 1945 г. – Алматы: Дайк-Пресс, 1999.

Из историй депортаций в Казахстан 1935–1939. Сборник документов. – Алматы: ЛЕМ, 2015.

Anderson, B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. – London: Verso Books, 2006

Assmann, J. Religion and Cultural Memory: Ten Studies / Trans. by Rodney Livingstone. – Stanford, CA: Stanford University Press, 2006.

Assmann, J. Collective Memory and Cultural Identity // *New German Critique*, no 65, 1995, p. 125–133.

Barthes, R. Camera Lucida. – New York: The Noonday Press, 1980.

Benjamin, W. On the Concept of History // *Selected Writings, 1938–1940*. Trans. by Edmund Jephcott. – Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

Boym, S. Nostalgia and Its Discontents. *Hedgehog Review*, vol. 9, no. 2, 2007, p. 7–19.

Brassai. Proust in the Power of Photography / Trans. by Richard Howard. – Chicago: University of Chicago Press, 2001.

Caruth, C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. – Baltimore: John Hopkins University Press, 1996.

Hirsch, M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust. – New York: Columbia University Press, 2012.

Halbwachs, M. On Collective Memory / Trans. by Loius Coser. – Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Songmoo, Kh. Koreans in Soviet Central Asia. – Helsinki: Finnish Oriental Society, 1987.

Pierre, N. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // *Representations*, no 26, 1989, p. 7–24.

Snyder, T. Bloodland: Europe between Hitler and Stalin. – New York: Basic Books, 2010.

Sontag, S. On Photography. – New York: Rossetta Books, 1973.

Раздел III

ИСКУССТВО

Искусство сохраняет память, а еще искусство помогает преодолевать боль. Имена, человеческие истории и судьбы могли бы безвозвратно раствориться в реке забвения, но их спасает искусство. Теодор Адорно писал, что после Освенцима невозможно писать стихи, что после краха, который потерпела гуманистическая идея, после абсолютного зла искусство невозможно. Между тем можно возразить Адорно: после Освенцима стихи необходимы еще в большей мере. Писать, создавать, вопрошать нужно с еще большей страстью и яростью, с большей глубиной и вдумчивостью, чтобы не повторить, а опасность этого всегда велика, чтобы осмыслить, чтобы оплакать и чтобы, преодолев зло и боль, продолжать.

Музей имени Игоря Савицкого в Нукусе, «Лувр в пустыне», как его называют, – пример того, как страсть и вера одного человека, его создателя, помогли спасти от исчезновения огромный пласт художественного наследия русского авангарда, наследия, которое стало выражением эпохи, в котором слышно дыхание того времени, и трагическая судьба которого тоже есть одна из основных тенденций той эпохи. Игорь Савицкий посвятил свою жизнь сохранению картин неугодных репрессированных художников и созданию музея в песках Кызыл-Кума, Мариника Бабаназарова, его ученица и преемница на посту директора музея, до недавнего времени продолжала его дело. В своем эссе «Возвращенные имена» Мариника Бабаназарова пишет об истории создания сначала «коллекции Савицкого», а позже музея. С середины 1930-х годов критика в адрес художников-формалистов, не отражающих в своем творчестве строительства нового социалистического мира, становилась все яростней. Много деятелей культуры попадает под арест по политическим статьям, музеи избавляются от их картин, кто-то сам уничтожает свои работы. Бабаназарова в своем эссе рассказывает о

судьбах трех художников, чьи работы сегодня – жемчужины нукусской коллекции, судьбах, страшно похожих друг на друга и на сотни тысяч других. Яркая творческая натура, талант, своеобразный стиль – а затем арест, годы в лагерях, болезни, смерть. И спасенные работы в узбекской пустыне – как робкая надежда для нас, что есть нечто, переживающее муки и смерть.

Искусствовед из Караганды Гульдана Сафарова пишет о творчестве репрессированных художников Карлага, о тех, с кого началась история изобразительного искусства региона. «Искусство в условиях подавления» называет Гульдана Сафарова часть своего исследования о творчестве заключенных трудового лагеря. Как замечает исследовательница, в работах многих художников, прошедших через лагерь, нет драматизма и изображения пережитого, власть запрещала любые упоминания о лагерной жизни, о страданиях и лишениях. И все же есть те, кто рисовал зону тайком и переправлял свои работы на волю, как Юло Соостер или Лев Премиров, который делал зарисовки лагерной жизни уже после освобождения. Сафарова приводит его слова: «Я знаю, что мои писания, мои рисунки, все мои труды гибнут, они ненавистны людям, стоящим у власти, и нестерпимы для людей, вынужденных с ней мириться». Это страшные и меткие слова описывают многолетнее равнодушие к репрессиям, трудовым лагерям, страданиям и лишениям миллионов заключенных. Власть запрещала говорить об этой части жизни советского общества, а для общества, для людей слишком сложным оказалось столкнуться лицом к лицу с правдой об архипелаге лагерей, тюрем, спецпоселений. Важной частью исследования Сафаровой являются и истории художников, сосланных в Карлаг и оставшихся в Караганде после освобождения. Среди них – Владимир Эйферт и Павел Фризен, которые изменили художественную жизнь региона благодаря своей преподавательской и просветительской деятельности, оставив после себя художественное наследие и плеяду учеников. Исследования искусства приносят маленькие открытия, кото-

рые помогают лучше понять и охватить тот непростой период и его обширное влияние на современную жизнь.

Постсоветская память и травма как предмет осмысления через искусство – основная тема эссе художницы, докторантки университета Лидса Асель Кадырхановой. Кадырханова пишет о теориях постпамяти и травмы, объясняя, почему последствия травмы – экстремального события или события предельной жестокости, могут длиться теоретически бесконечно. Симптомы травмы появляются с опозданием, так как в момент происшествия сознание не способно принять случившееся. Но позднее травма возвращается в виде навязчивых повторений и отсылок к ней. Переживший травму индивид, пишет Кадырханова, ссылаясь на исследовательницу травмы Кэти Карут, стремится не забыть ее, а вспомнить. Сталинский террор как коллективная травма становится одним из предметов художественной практики и исследований Асель, которая, являясь носителем собственной семейной памяти, как художница становится и актором памяти коллективной, создателем культурной памяти. Искусство как медиум памяти, позволяющий сохранять ее и в то же время ставящий вопросы о конструировании и манипуляциях с памятью, помогающий преодолевать последствия травмы – центральный предмет работы Кадырхановой. Искусство сохраняет память, но искусство – одна из немногих сфер человеческой деятельности, которая позволяет задавать вопросы о самом себе, усложняя задачу для его зрителей и создателей, но раскрывая сложность и многогранность таких материй, как память, травма, застывшая боль и справедливость.

Александра ЦАЙ

Мариника Бабаназарова

Возвращенные имена

Для ценителей прекрасного и для международного арт-сообщества музеев искусства Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого в Нукусе в последние десятилетия превратился в своеобразную Мекку. В мировых рейтингах авторитетных средств массовой информации Нукусский музей занимает первые позиции среди экстраординарных туристических направлений. Очень часто этот музей называют «Лувром в пустыне», проводя эту аналогию не только из-за характера и масштабности собрания, но и из-за его популярности. Эксперты считают музей в Каракалпакстане крупнейшим художественным собранием Центральной Азии, а популярность коллекции авангардного искусства начала XX века свидетельствует об особом интересе глобального масштаба. По статистике запросов Нукус стал четвертым по популярности (после Бухары, Самарканда и Хивы) туристическим направлением в Узбекистане благодаря этому музею.

Необходимо отметить, что коллекция археологических находок античного и средневекового искусства Древнего Хорезма – «среднеазиатского Египта», как его назвал первооткрыватель, выдающийся ученый с мировым именем, профессор С.П. Толстов, представляет немалый интерес. А обширная коллекция каракалпакского народно-прикладного искусства, ставшая основой музея в момент его открытия в 1966 году, считается генофондом культуры малого, в прошлом полукочевого народа, проживающего ныне в южном Приаралье, печально знаменитом на весь мир самой скоростной экологической катастрофой XX века.

Годы бума Нукусского музея показали, что самой интригующей частью его собрания для посетителей является раздел изобразительного искусства 1920–30-х годов. Так уж получается, что запретный плод сладок, и именно эта коллекция оказалась притягательной для большинства почитателей. Это объективный взгляд, без какой-либо стерилизации, на художественную жизнь страны, это имена, которые были либо отвергнуты официальным искусством, либо попросту выпали из его поля зрения, пребывая в забвении не одно десятилетие. Не случайно одна из резонансных выставок музея имени И.В. Савицкого во Франции в 1998 году имела название *Les Survivants des Sables Rouges*, это название содержит двойной смысл: «Выжившие в Кызыл-Кумах» или «Выжившие в красных песках».

За последние 30 лет столько сказано и опубликовано на темы репрессий, а также судьбы интеллигенции, на которую пришелся особый удар, когда уничтожали не только самих людей, их близких, но и их творения. Однако и поныне нет официального переосмысления истории изобразительного искусства Узбекистана начала XX века, а именно – периода его зарождения в 1920-е годы, а также судьбы местной школы в 1930-е годы. Не дана всесторонняя и объективная оценка исторического Постановления Совета Народных Комиссаров Узбекской ССР 1933 года о мероприятиях по развитию изобразительного искусства в Узбекистане, сыгравшего роль в унификации манеры, стиля и тематики с позиций социалистического реализма, который стал единственно возможным художественным направлением в искусстве.

Несмотря на наличие имеющихся публикаций, обобщающего официального взгляда на предмет нашего рассмотрения нет до сегодняшнего момента. Художественные вузы и колледжи до сих пор пользуются учебниками, написанными в 1950–80-е годы, и небольшим списком статей из научно-популярных журналов. Возможно, какие-то знания студенты-искусствоведы получают из лекций и семинаров их преподавателей, но фундаментальных изданий для широких кругов нет.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов, в эпоху перестройки, наши преподаватели истории искусства советского Узбекистана, отступая от методических разработок, концепций и вузовских программ, начали рассказывать о неоднозначной общественно-политической ситуации рубежа 1920–30-х годов, будучи сами свидетелями и участниками многих событий в культурной жизни страны. Вдумчивые студенты вели тщательные конспекты этих лекций, т. к. в учебниках ничего об этом, естественно, не было. И если 30 лет назад такая ситуация была вполне логична и объяснима, то отсутствие официальной истории искусства в новом освещении в наши дни назвать нормальным никак нельзя. Разумеется, речь идет не о переписывании истории, а о ее объективном пересмотре. Этому, однако, не способствуют разные факторы, в том числе и закрытость архивов, связанных с периодом двух послереволюционных десятилетий установления советской власти, периода коллективизации и раскулачивания, обогранных кровью и репрессиями. Все это коснулось и сферы культуры.

Выход в свет Постановления ЦК ВКП(б) от 23.04.1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» обозначил включение в сферу жесткого контроля со стороны партии и правительства культурной жизни страны. В июне 1933 года было принято соответствующее Постановление Совнаркома УзССР о мероприятиях по развитию изобразительного искусства в Узбекистане. И если выставки в Москве и Филадельфии (США) в 1934 году, вошедшие в историю изобразительного искусства страны как успешные и даже в некотором роде триумфальные, «во многом поучительные», по словам критика В. Надеждина, и для московских художников»,¹ то в последующие годы ситуация начинает меняться к худшему.

¹ *Надеждин В.* Заинтересованные современники. Советское искусство // Ремпель Л.М. Искусство советского Узбекистана. 1917–1972. Москва: Советский художник, 1976. С. 16.

С 1935 года все сильнее слышится критика в адрес художников, «неправильно» отражающих социалистические преобразования либо вообще игнорирующих их, «запершись в башнях из слоновой кости». Их уличают в грехах декадентства и буржуазном разложении, обвиняют в псевдоискусстве и инакомыслии. От морального давления и изгнания из выставочно-публичной сферы переходят к мерам официального устранения путем заведения уголовных дел, зачастую не гнушаясь клеветы и доносов. Под знаменем соцреализма зачищаются все пути для свободного творчества в публичном пространстве. По этим причинам происходит деление на тех, кто искренне и тех, кто вынужденно принимают новую культурную политику и отражают социалистические преобразования. А. Волков, В. Уфимцев, А. Николаев, М. Курзин, Н. Карахан, Н. Кашина, У. Тансыкбаев – все они претерпели эту ломку. Даже способ и стиль изображения политкорректных тем и сюжетов стали предметами острейших баталий и официального осуждения. Впоследствии этот процесс отхода от своей яркой индивидуальности и сами художники, и их критики обозначали мягкой формулировкой «преодоления болезни «левизны» и формалистических экспериментов».

Таким образом, репрессии коснулись всех, даже тех, кто не был осужден или преследуем открыто. Диктат идеологии зачастую являлся орудием советской бюрократии для сведения личных счетов с неудобными, посредственности уничтожали более талантливых из чувства зависти, навешивая им всяческие ярлыки. Тягчайшая атмосфера царит на обсуждениях выставок с середины 1930-х годов. Тон газетно-журнальных рецензий, анонимных и авторских, невыносим. Обычным явлением были статьи с заголовками типа «Против трюкачества в живописи», подписанные просто «Художник» в центральной газете партии «Правда Востока» от 22.03.1936 года. В ней изничтожались «фиглярство» и формализм А. Волкова, а также его коллег по цеху В. Марковой, Н. Кашиной и др.

Некоторые художники, не выдерживая морального давления, уничтожают свои творения. Критика творчества переходит в политические обвинения. Осуждены по политическим статьям М. Курзин, В. Лысенко, А. Николаев, М. Гайдукевич, В. Кайдалов, В. Гуляев, Ф. Кравченко, В. Конобеев и др. Относительно благополучные утверждали, что по молодости заблуждались, были под влиянием формалистических и буржуазных западных течений, а теперь осознали, что подлинное искусство – это социалистический реализм. Приняв правила новой игры, они ностальгировали впоследствии, уже в период оттепели, по своей творческой молодости.

Так был остановлен яркий взлет искусства в середине 1930-х годов.

Итак, после всего сказанного, попытаемся в этой статье рассмотреть творческие биографии художников интересующего нас периода и контекста на основе коллекции и архивов Нукусского музея.

Как уже не раз упоминалось, эта коллекция дает объективную картину становления художественной школы Узбекистана. Она формировалась как бы вне политики, но в то же время отражает косвенно, иногда и прямо, общественно-политическую ситуацию страны и Центральной Азии в частности.

Обстановка созидания нового мира, революционная романтика, восторг от созерцания восточной экзотики и глубокого изучения древней культуры в непосредственной близости от нее гармонично совместились с уже наработанным культурным опытом и знаниями творивших в Узбекистане художников. Период 1920-х – начала 1930-х годов характеризуется яркостью, разнообразием, мощной динамикой и присутствием во всех сферах жизнедеятельности, от науки и консервации памятников старины до участия в так называемых агитпроповских и образовательных проектах «расм мактаб»-ов для широких масс.

Обзор архивов музея с личными делами художников, представленных в собрании отдела изобразительного искусства,

наводит исследователя на весьма противоречивые размышления. Конечно же, эти мысли в очередной раз ассоциируются с утверждениями, что судьба любого гениального художника, за редким исключением, это – трагедия.

Особенностью данного архива является то, что он соби­рался в условиях почти полного отсутствия публикаций и отсутствия официальной объективной оценки творчества и жизнедеятельности преобладающего большинства художников. Музей кропотливо собирал абсолютно все свидетельства творческой активности представителей художественного мира страны. Переписка, воспоминания, справки различных ведомств, каталоги, фото, личные записи Савицкого и его сотрудников с опросами родственников и друзей художников, владельцев произведений, дневники – живая память эпохи. Эти свидетельства порой потрясают! Для неподготовленного исследователя они могут стать шоком. Некоторые факты были уже частично освещены в наших публикациях и документальных фильмах¹. Все они вызвали огромный резонанс и интерес к музею, его истории и, как ни парадоксально, популяризировали музей, обеспечив ему стабильный туристический поток.

В истории бренда Нукусского музея коллекция репрессивного искусства играет ведущую роль. Справедливости ради скажем, что ни музей, ни его создатель, И.В. Савицкий, никогда не ставили во главу угла тему политических репрессий 1920–30-х годов. Основатель музея всегда руководствовался миссией спасения гибнущего и находящегося в забвении пласта искусства, выброшенного из поля зрения ценителей и исследователей искусства первых трех десятилетий XX века. Его волновало, что даже после осуждения сталинизма и культа личности, уничтоживших цвет культуры, после периода от-

¹ Список каталогов музея см. в библиографии. The Desert of Forbidden Art – документальный фильм продюсеров А. Поуп и Ч. Георгиева (США), 2010 г. «Страсть Игоря Савицкого», продюсер Али Хамраев, 2015 год.

тепели в стране сохранялась обстановка неприятия истинного современного искусства. Поэтому Савицкий, руководствуясь не только азартом и жадностью коллекционера, но и желанием вовремя оценить и спасти талант, предпринял попытки приобретения работ и более поздних диссидентов, представителей московского андеграунда 1960–70-х годов. В Нукусе хранятся картины М. Шемякина, зарегистрированного в картотеке как «н.х.» (музееведческий термин, обозначающий неизвестных художников), С. Рубашкина (его культовая картина о «бульдозерной выставке» 1974 года была куплена музеем под названием «Гуляние в парке»), К. Суряева, А. Слепышева, М. Недбайло и др. А лагерные рисунки репрессированной как члена семьи врага народа Н. Боровой, сделанные ею в Мордовии в женской колонии, он сумел приобрести, как жанровые рисунки узницы фашистских концлагерей в 1983 году, за два года до перестройки.

Игорь САВИЦКИЙ

И.В. Савицкий, не последовавший в эмиграцию за родными, несмотря на наличие, по крайней мере, двух жертв репрессий в семье, оставшись в СССР, активно участвовал в социальных преобразованиях страны. Он фактически занимался реабилитацией искусства 1920–30-х годов, опередив идеологические вызовы перестройки почти на 20 лет! Сохраняя культурно-духовные ценности, он вносил огромный вклад в развитие искусства. И свято верил в свою миссию, преодолевая бюрократию, коррупцию и бескультурье. Именно в бескультурье он видел препятствие для воплощения своих планов. В нем он видел причину произошедших в стране трагедий, которые ввергли в пучину забвения и унижения образцы истинной культуры. Он как бы вторит Михаилу Курзину, ярчайшему художнику Узбекистана, сломленному тоталитаризмом, который также называл происходящее в сталинскую эпоху повальным бескультурьем не только масс, но и самих чиновников от культуры. Во

всяком случае, Савицкий так пытался объяснять происходящее¹.

Игорь Витальевич, к несчастью, не дожил до перестройки, когда его миссия по спасению и сохранению сотен имен и шедевров блистательных мастеров получила официальное признание в стране. Целью нашей публикации является попытка проиллюстрировать вечный спор власти и творца на примере судеб трех ярких личностей в истории изобразительного искусства XX века. Эти судьбы типичны для своего времени и одновременно имеют свои индивидуальные особенности. Впрочем, как и вся, ныне знаменитая, коллекция.

Василий Александрович ЛЫСЕНКО (1899–1970-е)

Одна из наиболее известных картин из собрания Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. И.В. Савицкого – «Бык», 1929 года, принадлежащая кисти малоизвестного художника Узбекистана Василия Лысенко, в последние годы регулярно вызывает настоящий ажиотаж среди посетителей музея со всего мира (см. Иллюстрации).

¹ Из письма И. Савицкого художнице Ирине Жданко, супруге его учителя Льва Крамаренко: «Наверное, безрассудно было делать такой музей в условиях нашей страны. Всех мучаю и сам мучаюсь, а ради чего неизвестно. Наша страна так далека от искусства, вернее, народ так темн в этом плане, что черт с ним ну погибло бы все, что мы собрали, или не погибло, а дождалось других времен. То, что мы делаем, никому непонятно, непонятно то, что висит на стенах музея, наполняет стеллажи. Они напоминают Освенцим – Освенцим искусства, чуждого миллионной массе невежд, непонятно, можно ли будет их разбудить и заинтересовать, воспитать до нужного уровня. Наверное, это не в наших силах. Кругом разгул совершенно всего другого, того, что презирает искусство, не понимает его, готово его изничтожить. Практически это происходит многие десятилетия. Правда, искусство живуче, как всякий сорняк, и не удалось его выкорчевать или всадить в клетку нужных трафаретов, оно лезет из этих клеток во все стороны. Вот это несколько вселяет надежду и дает силы к бесконечной и бессмысленной донкихотчине. Но ведь все мы такие романтики».

На фоне беспрецедентного выдвижения брэнда Нукусского музея на международной арене эта картина, обладающая мощным магнетизмом, играет особую роль: служит одновременно и символом феномена этого музея, и его своеобразной иконой. Начал этот процесс брэндирования Государственный Русский музей в 1991 году, выбрав картину В. Лысенко, так сказать, «лицом» выставки «Советское искусство 1920–30-х годов из собрания ГМИ ККАССР им. И.В. Савицкого. Нукус». Изображение «Быка» было размещено на гигантских баннерах и растяжках на Невском проспекте и на афишах Русского музея по всему Петербургу, на пригласительных билетах. Картина тогда же появилась в популярнейшей в СССР программе А. Невзорова «600 секунд». Впервые «Бык» был опубликован на обложке бестселлера издательства «Аврора» 1989 года «Авангард, остановленный на бегу», также увидевшего свет в городе на Неве. В 1998 полотно отправилось во Францию, где произвело фурор на выставке *Les Survivants des Sables Rouges*. Таким образом, будучи «логотипически» неразрывно связана с музеем, эта картина не могла не вызвать повышенного интереса самых разных категорий зрителей. Это произведение имеет солидное портфолио легенд и мифов и может служить классическим примером для изучения музейного маркетинга. Бесчисленное количество публикаций в СМИ, телерепортажи, документальные ленты неизменно включают истории «Быка» и его автора, столь характерные для всей художественной интеллигенции 1920–30-х годов, в свои сюжеты. Эти истории стали художественным выражением, метафорой всей концепции Нукусского собрания. В коллекции много творений художников, которых постигла подобная участь. Но выбор в пользу «Быка» сделан зрителями и экспертами. Однако этот, фактически уже неуправляемый, процесс диссонирует с трагизмом судьбы художника, который при жизни не мог представить себе даже в самых радужных мечтах такой популярности своего творения.

Но вернемся к истории. В 1971 году в музей поступают произведения Василия Лысенко, которые И. Савицкий приво-

зит из Ташкента, приобретя их у сестры художника, Галины Александровны Лысенко. Холсты были в ужасном состоянии после долгого хранения в сложенном виде, краски осыпались. Из-за деформаций и ужасающих осыпей вряд ли кто-то мог рассмотреть изображенное и вообще обратить на холсты внимание. Однако это не остановило Савицкого, и он разглядел в этих работах незаурядный дар творца. Савицкий очень скупно поделился сведениями об авторе, о его непростой судьбе, что затруднило нормальный процесс регистрации поступивших экспонатов, незамедлительно отправленных из музея в Москву на реставрацию. Впоследствии сотрудникам музея пришлось излагать биографию В. Лысенко уже со слов коллег, которым удалось вспомнить кое-какие обрывочные данные. Все это, к сожалению, привело к ошибкам в этих несколько вольных рассказах. А поскольку Нукусский музей – единственный обладатель работ этого автора, все публикации о Лысенко и любые упоминания о нем основывались на тех первых сведениях¹, а также на гипотетических заключениях уважаемой, ныне покойной Ольги Осиповны Ройтенберг в ее монографии «Неужели кто-то вспомнил, что мы были...» и не менее авторитетного узбекского искусствоведа Риммы Варшамовны Еремян².

Сегодня мы понимаем, почему Савицкий разглашал далеко не всю информацию о художниках, чьи работы он собирал в музее. Ради спасения и сохранения их замечательных творений он не только избегал публикации некоторых данных, но и прибегал к определенному рода хитростям, о которых мы нынче вынуждены рассказывать исследователям и нашим посетителям, чтобы они понимали непростую историю музея.

В течение ряда лет мы предпринимали множество попыток раскрыть тайны Василия Лысенко: расспросили все старшее

¹ Архив музея, личное дело художника.

² *Ройтенберг О.* Неужели кто-то вспомнил, что мы были... Из истории художественной жизни 1925–1935. – Москва: Галарт, 2004; Архив музея, личное дело В. Лысенко.

поколение искусствоведов и художников Ташкента, реставраторов, которым Савицкий сдал его холсты для восстановления в Москве в 1972 году. Перелопатили каталоги и публикации 1920–30-х годов. Особого успеха мы не добились. Буквально по крупицам, по одной фразе, вскользь упомянутому высказыванию, характеристике удалось понять, что Игорь Витальевич не желал раскрывать эти тайны.

Плодотворным в этих почти детективных расследованиях стал 2012 год, когда автору этих строк наконец-то удалось обнаружить источники информации о семье художника. Соседи брата и сестры Василия, Дмитрия и Галины, рассказали об их жизни. Стало понятно значение, вернее, предназначение некоторых графических работ, находящихся в музее (например, разрисованные эскизы колодок для обуви для брата Дмитрия, сапожника). Однако о самом художнике они не смогли ничего рассказать.

Тем временем ажиотаж вокруг картин и личности загадочного художника практически вынудил нас настойчивее запрашивать соответствующие ведомства, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть домыслы и гипотезы о судьбе Лысенко. Одновременно пересмотр всей корреспонденции музея с 1970 года дал желанный результат. Нашлись два письма Галины Лысенко от 1974 года, в которых она обращает внимание Савицкого на неправильно указанное имя брата, что он Василий, а не Евгений. Также она сообщила, что брат парализован, и нужны деньги на его лечение. Эта весть подтверждает, что Лысенко на тот момент был еще жив.

Что произошло, почему эта информация не была включена в научный оборот (халатность сотрудников или умысел?), кто ввел в документацию имя «Евгений», а затем «Владимир»? Этого уже не объяснить. Ведь прошло больше сорока лет. Установление точного имени живописца стало маленькой сенсацией, позволившей нам детализировать поиски следов художника и его окружения. И действительно, вскоре пришел ответ от органов МВД о том, что В.А. Лысенко, 1899

года рождения, уроженец города Брянска, был осужден в 1935 году по статье 66-1 УК УзССР и приговорен к 6 годам лишения свободы. Совершил побег, вновь арестован и после отбытия срока освобожден в 1954 году, отбыв из Ташкента в Липецк.

На момент установления настоящего имени и причины исчезновения В. Лысенко из художественной жизни Узбекистана мы имели единственное документальное подтверждение его существования благодаря статье журналиста Ю. Арбата в газете «Правда Востока» от 24.05.1932-го года, хранившейся в личном деле художника А.Н. Волкова в музее.

Объективности ради следует упомянуть, что запросы о художнике к ведущим искусствоведам Р. Такташу, Л. Шостко, Р. Еремян дали результат лишь с последним адресатом. Помня о весьма критической оценке «Быка» Риммой Варшамовной, членом комиссии Узминкульта, требовавшей убрать его из экспозиции как «антисоветское произведение», мы все-таки обратились к ней в постперестроечное время, в начале 1990-х, с целью узнать побольше об авторе. Однако, хотя Р. Еремян и изменила характеристику его творчества, ее сведения оказались весьма приблизительными и безосновательными. Мы осмеливаемся утверждать это после ознакомления с архивными данными.

Но вернемся к статье Ю. Арбата «Художники не увидели основного», которая носила резко критический характер и была пронизана духом апрельского Постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Наряду с критикой произведений А. Волкова, П. Бенькова, М. Курзина, представленных на 1-й республиканской выставке ИЗО работников Узбекистана, досталось и Лысенко. Уделив ему целый параграф в статье, автор не считал нужным даже обозначить его инициалы. Трижды упомянутый Лысенко вошел в историю художественной жизни Узбекистана безымянным, как бы изначально дав посыл всяческим гаданиям и измышлениям о своем имени и судьбе.

Что касается самих произведений, то немаловажно, что они не имели названий. Подписаны и датированы были только некоторые из 21 холста и рисунка, взятых Савицким у сестры художника.

Очевидно, Савицкий сам присвоил картинам названия при сдаче их на реставрацию в ВЦНИЛКР и ГЦХИРМ¹. Обращает на себя внимание и факт детализации Савицким тематики работ – он называет их «антифашистскими» в письме к министру культуры Каракалпакской АССР А. Худайбергенову, в котором просит его разрешения на реставрацию картин по договорам с московскими реставраторами. Такой детализации нет в отношении других авторов, указанных в том же прошении, да и вообще такая подробность обычно не нужна в деловой корреспонденции. Чем это было вызвано?

В 2012 году в ходе поисков нам пришлось беседовать с реставратором А. Зайцевым и экспертом ГосНИИР М. Красиным, занимавшимися этими картинами, с целью выяснения хотя бы мельчайших сведений о В. Лысенко и его творчестве. Хотелось надеяться, что с москвичами Савицкий мог быть более откровенным. Увы. Любопытно, что они объяснили отсутствие данных о художнике «вечной спешкой» нукусского директора, который «хватал у владельцев картины и убегал, пока не передумали». А реставраторам он скупно объяснил свое понимание картин В. Лысенко тем, что художник творил в эпоху наступления фашизма.

Нам непонятна была такая трактовка, учитывая, что полотна датированы концом 1920-х – началом 1930-х годов. Относительное понимание пришло к нам лишь в 2012 году во время работы в архивах. На Лысенко, очевидно, повлияла роковая дружба с художником Федором Кравченко, увлекавшемся идеями расового превосходства. Очевидно, желание

¹ Всероссийская Центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных ценностей (ВЦНИЛКР), позднее ГосНИИР. Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И.Э. Грабаря (ГЦХИРМ).

Савицкого подчеркнуть «антифашистскость» темы и стало главной мотивацией спасения этих ярких произведений. С высоты своего жизненного опыта и по прошествии многих лет, а также во спасение автора, в 1971–72 годах Савицкий прибегает к наиболее приемлемой для того момента трактовке наследия В. Лысенко.

«Бык» – это тоже не авторское название. Картина могла быть реакцией Лысенко на зарождение фашизма в Германии в 1920-е годы. Беседы с Ф. Кравченко, которому импонировали некоторые смелые идеи нарождавшегося германского национал-социализма, возможно, и подсказали В. Лысенко образ, который до сих пор будоражит умы зрителей. Надо сказать, что некоторые художники его круга (Ф. Кравченко и их учитель К. Малевич, Н. Карахан) рассматривали в 1920-е годы фашизм, как новое западное течение, связанное с христианством. Малевич, по словам Лысенко, побывав в 1927 году в Германии, рассказывал о бурной художественной жизни и восторгался новыми революционными течениями. Свастика для них была символом христианских катакомб в Древнем Риме. Мистические взгляды К. Малевича, «одухотворявшие вселенную», повлияли на А. Николаева (Усто Мумина) и В. Лысенко. Становится понятной связь впечатлений Малевича и философски сложного по композиции и содержанию «Быка». Название этой картины в первичной документации «Фашизм угрожает» становится более оправданным в данном контексте. Савицкий, очевидно, хотел избежать повторного обвинения в антисоветчине и, всячески подчеркивая антифашизм Лысенко, в очередной раз прибег к своей тактике спасения и сохранения творческого наследия художников-изгоев.

Остальные произведения В. Лысенко, представленные в ГМИ РК им. И.В. Савицкого¹, – 4 автопортрета (см. Иллюстрации), 3 композиции и 1 театральная задник – выпол-

¹ В Нукуском музее хранится в общей сложности 21 работа В. Лысенко, а не 6, как сообщалось ранее.

нены в конце 1920-х – начале 1930-х годов, они также были созданы под влиянием ленинградской художественной среды. Годы учебы в ИнХУКе (1924–1929), влияние В. Ермолаевой и П. Филонова, чьи квартирные выставки-дискуссии Лысенко посещал и общался там постоянно не только с К. Малевичем, но и с ташкентскими художниками А. Николаевым, В. Марковой, Ф. Кравченко, не прошли бесследно для художника.

Вернувшись в Ташкент, В. Лысенко слушает лекции М. Курзина о конструктивизме в студии при клубе им. Кафанова. Там же занимается живописью у М. Курзина и А. Волкова, за которым после раскола в группе студийцев уходит работать в Шейхантаурскую мастерскую. Эта свободолобная и многогранная в своих творческих исканиях среда и формировала авторское мировоззрение В. Лысенко.

Официальная критика не приняла этих исканий, и в упомянутых выше «Заметках о 1-й республиканской выставке ИЗО работников Узбекистана» Ю. Арбат пишет о Лысенко сразу после А. Волкова и М. Курзина, ставя его по значимости в первую тройку, что говорит само за себя:

«Лысенко от Волкова к Курзину, от Курзина к Лысенко это, как бы цепь. Что отображает стоящий на берегу моря человек Курзина? – Ничего! Так стоит человек и все. Пароходик его едет и тоже никаких особых размышлений не вызывает. «Пьет человек» – ну и пускай пьет. Лысенко пошел еще дальше. Вся его живопись, все его творчество беспредметны. Это – простая «красивость». Беспредметность, уход в «чистую» живопись, в «искусство для искусства», – глубоко реакционны. В республике строящегося социализма, в республике, преодолевающей наследие старого, наследие колонизаторской политики самодержавия писать «голубые симфонии» – значит звать к уходу от действительности, к обособленности отрыва от жизни».

Это был «первый звонок» для художника. Очевидно, Лысенко ушел в оформительские и учительские работы для музея революции и театра в школе, где он работал до ареста

в марте 1935 года, последовавшего в период набравшей обороты кампании по борьбе с формализмом и инакомыслием. В обстановке параноидального поиска террористов, контрреволюционеров и антисоветчиков¹, к которым применялись жестокие меры воздействия, неудивительно, что В. Лысенко отрекся от своих учителей К. Малевича и П. Филонова, назвав их «мистиками-идеалистами», посчитав их взгляды антисоветскими и вредными. Вероятно, под давлением, он причислил к антисоветским элементам и своих коллег: А. Николаева, познакомившего его с К. Малевичем, и М. Курзина. Впрочем, не он один вынужден был давать требуемые признательные показания. Он признал и некоторые свои рисунки антисоветскими. Свои антисоветские взгляды считал результатом бытового неблагополучия и жизненных трудностей. Как бы осознав свое перерождение, он отрекся от них.

Обвинительный приговор, вынесенный осенью 1936 года, и последовавшее за ним тюремное заключение поставили точку в творческой карьере этого яркого живописца. Долгие годы, включавшие его побег из лагеря, жизнь под чужим именем в родной деревне Сосновка Брянской области, повторный арест и повторную отсидку снова в Узбекистане, а затем сельскую жизнь в совхозе под Саратовом в качестве маляра, свидетельствовали о печальном финале творческих амбиций Василия Лысенко. Последний документ, написанный его рукой, – это ходатайство в собес в 1966 году о пенсии.

Очевидно, именно эти трагические перипетии были причиной разночтений в его биографии, они и по сей день оставляют место для поиска новых фактов о его жизни после 1936 года. Хотя фраза в его ходатайстве о пенсии, что он «когда-то увлекался живописью» почти не оставляет надежд на новые открытия.

¹ Убийство Кирова в 1934 году стало началом эпохи «большого террора» и массовых зачисток, когда тысячи невинных были обвинены под предлогом причастности к этому делу.

Михаил Иванович КУРЗИН (1888–1957)

Михаил Иванович Курзин – одна из значимых фигур художественной школы Узбекистана периода 1920-х–30-х годов. Являясь одним из организаторов объединения «Мастера Нового Востока», он принимал активное участие в формировании и развитии изобразительного искусства края, не только выставляясь на различных республиканских показах, выполняя заказы по революционной агитации и пропаганде, но и непосредственно обучая молодые национальные кадры, читая лекции в учебных заведениях и рабочих студиях. Художник также состоял в Оргкомитете Союза художников Узбекской ССР. Несмотря на гибель и исчезновение многих его ранних произведений, Курзин оставил глубокий след в истории культуры страны.

В коллекции ГМИ РК им. И.В. Савицкого хранится 228 его произведений, отражающих весь творческий путь художника.

Его приезд в Узбекистан из Сибири в начале 1920-х годов, как и у других его собратьев по цеху, был связан не только с увлечением экзотикой и ориентализмом. Вся творческая активность уже состоявшегося на тот момент мастера была пропитана революционной патетикой и служила идеям внедрения искусства в массы, была эффективным арсеналом агитпропа для отражения революционных и социалистических преобразований, а также орудием борьбы со старым миром.

Изучая республиканские архивы и материалы по теме творчества Михаила Курзина, мы обнаруживаем множество репродукций, посвященных теме социалистического труда. Он много ездил по стройкам, колхозам, запечатлевая портреты передовиков и встречи народа с партийными вождями. Большая коллекция таких картин представлена в ГМИ Узбекистана – «Женщина у станка» 1933 года, «Ташсельмаш» 1933 года, «Передовая женская бригада» 1934 года. Хрестоматийными стали его картины «М.И. Калинин в Ташкенте» 1927–28 гг. и «Танец колхозников» 1933 года. В 1932 году Курзин участво-

вал во всесоюзной выставке «Плакат на службе пятилетки» в Москве. Эта часть его творчества активно поддерживалась властью и подробно описана в учебниках и монографиях. Сатирические иллюстрации в журналах, плакаты, обличающие феодальные пережитки, в которых особенно ярко проявился талант художника и опыт, наработанный в «ОКНАХ РОСТА» в Москве, критики и искусствоведы, к сожалению, почти не осветили. Лишь благодаря частным иностранным коллекционерам в печатных изданиях в последние годы появились работы этого жанра¹. Даже в постперестроечный период, в 1989 году, официальная художественная критика рассматривала творчество приехавших в Узбекистан мастеров кисти как бы по инерции, считая его обращенным «целиком или почти целиком к эстетическому освоению традиционных, экзотических сторон жизни и быта узбекского народа»². Преобладание традиционных мотивов объяснялось нахождением «в плену уходящей в прошлое восточной экзотики»³.

Не привлекла внимания искусствоведов и судьба М.И. Курзина, превратившегося во второй половине 1930-х годов в изгоя. Несмотря на множество политкорректных произведений, выполненных в духе и стиле соцреализма, М. Курзин одновременно создает работы, вызвавшие недовольство и раздражение тех, кто определял пути развития искусства. Стандартное обвинение в формализме, увлечении конструктивизмом, кубизмом и прочими буржуазными течениями в искусстве не обошли стороной и Курзина (см. статью Ю. Арбата). Думается, что неприятие личности Михаила Курзина было во многом результатом его прямого, взрывного, независимого характера. Резкость суждений, осознание свое-

¹ *Галеев И.* Венок Савицкому: Живопись, рисунок, фотографии, документы. – Москва: Галеев Галерея, 2011; «Туркестанский авангард», каталог выставки в Государственном музее Востока. – Москва, 2009.

² *Ремпель Л.М.* Искусство советского Узбекистана. 1917–1972. – Москва: Советский художник, 1976.

³ Там же.

го самобытного дара, чувство собственного достоинства, богатый жизненный опыт, военная служба в армии Колчака, а затем дружба с анархистами и даже участие в экспроприации частных банков в Москве, общение с выдающимися деятелями эпохи (А. Луначарским, В. Маяковским и др.) свидетельствуют не только о полной коллизии жизни художника, но и о его бунтарских качествах. Становится вполне объяснимым его депрессивное состояние, когда посредственности и невежды, дорвавшиеся до власти, поучали и критиковали маститого незаурядного художника, творившего с некоторых пор уже больше «для души». Политический заказ, с которым он так же мастерски справлялся, стал для него уже другим искусством. Это раздвоение мучило М. Курзина. Он все более ожесточался, становился несдержанным, агрессивным, критиковал бездарных коллег. С присущей ему сибирской прямолинейностью позволял себе неосторожные суждения: о том, что талант нынче не в чести, что он хочет уехать за границу, скопив денег, что там его оценят по достоинству.

В апреле 1936 года в пивной Курзин заявил, что не хочет жить в СССР, где не ценят больших художников, что в капиталистических странах он жил бы лучше, поэтому думает о побеге. Этот крик души был вызван непониманием его аллегорического и гротескового стиля. В кричащих цветах его композиций усматривали не декоративный прием, а издевку над изображаемыми персонажами, обвиняли в сексизме, называя изображения женщин хамскими. «Отчего он пишет лица и ноги зелеными?!», «Он изображает женщин, как проституток» – неслоь от критиков и окружения¹. Язвительность и сарказм его политсатиры («Бай агитирует» 1930 года, «Старое и новое» 1930 года), высмеивавшей и бичевавшей уже не только байско-феодальный уклад, но и в целом коррупцию правящих элит, стали вызывать не просто раздражение, а подозрительность к гражданской позиции художника Курзина.

¹ Архив музея, личное дело М. Курзина.

В этой связи весьма неоднозначна его картина «Капитал» 1928 года (см. Иллюстрации). Остро-сатирическое произведение, хранившееся в музее с 1969 года, воспринималось нами весьма созвучно с идеологическими установками времени – как обличение мира капитала. Уродливая пара, олицетворение мировой буржуазии, ассоциировалась с нэпманами, которых в подобной гротесково-экспрессивной манере изображали многие советские художники. Однако в 2003 году, благодаря неоценимой помощи японского исследователя русской культуры, профессора И. Камеяма, мы получили новые сведения о жизни М.И. Курзина, который чрезвычайно его заинтересовал. Среди этих материалов была фотография хранимой нами картины «Капитал», но... в ее полном формате. Это была сенсация. Оказалось, мы храним лишь ее фрагмент, верхнюю часть. Сюжет всей картины раскрылся совершенно неожиданным образом. В нижней, отсутствующей части композиции был изображен сам автор, сжимающий в объятиях гроб. Справа от его лица с закрытыми глазами отчетливо видна цифра «17». Очевидно, это дата Октябрьской революции. В углу композиции изображен узкий туннель с морем одинаково одетых в робы людей... Подпись и дата – 1928, хотя в музейных документах картина датирована 1931 годом.

Эта фотография перевернула всю прежнюю, привычную для всех нас смысловую наполненность произведения. Глубокий трагизм автопортрета, расположенного в самом низу, как бы на дне жизни, на наш взгляд, является абсолютным выражением душевного состояния надлома художника, потерявшего жизненно-философский ориентир. О многом говорит и расположение даты революции.

Куда исчезла нижняя часть полотна, нам неизвестно. Как и в случае с В. Лысенко, приходится распутывать мельчайшие узелки в биографии и этого мастера, который, несмотря на свою активность и большую роль в культурной жизни Узбекистана, не удостоился ни одной монографии, за исключением скромной брошюры о нем узбекского искусствоведа Р. Такташа, опубликованной, да и то на эстонском языке, в 1971 году в Таллине.

1936 год вошел в историю изобразительного искусства Узбекистана, как год жесточайшего подавления свободы творчества и малейшего инакомыслия. Были осуждены многие деятели культуры. Люди жили в обстановке слежки и повальных допросов, оклеветывания и обвинения в формализме и антисоветизме. Неудобным припоминали всё: любую провинность, их прошлое, социальное происхождение и проч. Нашумевшая история, связанная со скандальным поведением М. Курзина на открытии выставки С. Мальта в мае 1933 года, стала главным поводом для обвинительного приговора, вынесенного Курзину по заведенному на него делу, несмотря на то что после инцидента прошло более трех лет. Накопившееся у Курзина недовольство происходящим вылилось в пьяный дебош. Придя на выставку в нетрезвом состоянии, он не только оскорблял Мальта, высказываясь критически о его творчестве, но, разойдясь в бунтарском порыве, призвал всех «бросать кисти и палитры, идти на Кремль и убить Сталина». Слишком много было свидетелей, и слишком буйно вел себя Михаил Иванович, поэтому слабые попытки его друзей объяснить нервное поведение пьяным состоянием не были успешными. Эта история имела большой резонанс. Ее пересказывали в свидетельских показаниях даже те, кто не присутствовал на выставке. Курзину припомнили все его «грехи». Вспомнили о его купеческом происхождении (отец Михаила Ивановича был крупным купцом, связанным с семьей Морозовых), службу в армии Колчака, увлечение анархизмом и участие в ограблении банков в Москве в период его анархистских вылазок-налетов в Замоскворечье в 1907 году.

Дело на Курзина возбудили на основании «поступивших материалов» в НКВД УзССР о том, что он в беседах с окружающими высказывал контрреволюционные и террористические настроения, что хочет бежать за кордон. Курзин, признавая эти факты под давлением следствия, пытался объяснить грехи своей молодости тем, что в юности считал анархизм революционным течением. Но в создавшейся ситуации, когда все забыли,

как восхищались творчеством мастера, когда даже одна из его бывших жен, видимо, сводя свои личные счета с ним, не пожалев его, была чересчур откровенна со следствием, которое постановило предъявить М.И. Курзину обвинение по статье 66 часть 1 УК УзССР за «контрреволюционную агитацию»¹. 8 лет ссылки художник отбывал на Колыме, включая 3 года жизни на поселении в Бухаре. Затем 3 года по вольному найму в Бухаре. За выезд в Ташкент для покупки холстов и красок был вновь осужден на основании материалов прежнего дела 1937 года. В 1948 году он был сослан в Красноярский край.

За 20 лет этих трагических испытаний были утеряны многие его работы, отражающие искания художника, его творческую самобытность. Теперь трудно установить, какие из них автор уничтожил сам (а он имел такую привычку), какие растащили соседи из опустевшего дома, когда его арестовали, а супруга, В. Лейтус, ушла жить к родным. Она утверждала, что во время ареста и после обыска две арбы с его картинами сотрудники НКВД увезли в неизвестном направлении. Судьба этих работ нам неизвестна. Некоторые работы на картоне разобрали соседи и использовали в хозяйстве, сушили на них урюк. В семье осталось несколько работ, которые Савицкий приобрел в музей. Он также купил работы художника, хранившиеся в семьях друзей Курзина. Они пополнили самую многочисленную и представительную коллекцию этого блистательного мастера.

В 1956 году Курзин вышел на свободу и прожил всего лишь один год в обстановке страшной нужды, безденежья, голода и болезней. Умер в 1957 году от онкологического заболевания. В последний год жизни он создал свои последние шедевры: несколько портретов стариков и потрясающие натюрморты с едой – два варианта сибирских пельменей и узбекский плов. В композициях его последних натюрмортов – простота и тихая радость. В них нет ничего эффектного, но они «полны любви и благоговения. Кажется, что он священнодействует, вбирая в

¹ Архив музея, личное дело М. Курзина.

себя краски и запахи жизни»¹. М. Курзин писал эти натюрморты для себя, а не для выставок. Эти картины увидели свет лишь на посмертной выставке.

Реабилитирован посмертно в 1960 году.

Александр Васильевич НИКОЛАЕВ
(Усто Мумин) (1897–1957)

Самой обсуждаемой и овеянной загадками и слухами личностью в истории изобразительного искусства Узбекистана 1920–30-х годов является А.В. Николаев, известный под псевдонимом Усто Мумин. Такого количества интерпретаций его судьбы и произведений не имеет, пожалуй, ни один узбекистанский художник, творивший в ту пору. Судьба А.В. Николаева – это взлеты и падения, признание и забвение, вновь подъем и возврат к активному творчеству, но уже в качественно иной ипостаси. Усто Мумин был удостоен отдельных публикаций и государственных званий, несмотря на противоречивость и неприятие его раннего творчества, которое официоз старался не замечать и обходить стороной. А. Николаев активно участвует в проектах по реставрации памятников старины Самарканда по линии Самкомстариса в первые годы жизни в Узбекистане. Он – активный сторонник сохранения и изучения народно-прикладного искусства. В 1936 году выступает в Оргкомитете Союза художников Узбекистана с докладом о состоянии, нуждах и перспективах национального искусства. Этому предшествовали его многолетний опыт общения с народными мастерами и постижение пластики традиционного орнамента и вязи арабского письма, секретов резьбы по ганчу и дереву, архитектурных форм и декора, миниатюры. Художник воплощал эти приемы в синтезе с европейской живописью и русской иконописью в своем творчестве. А о его проникновении в местную культуру и особой наблюдательности вспоминали многие художники и

¹ *Ремпель*. Искусство советского Узбекистана. 1917–1972. С. 174.

друзья (В. Уфимцев в книге «Говоря о себе» и др.) Мы приведем одно из неопубликованных воспоминаний скульптора О. Мануиловой, познакомившейся с Николаевым в 1920 году в Ташкенте, куда они с мужем приехали преподавать в художественной школе.

Супруг, А.А. Мануилов, стал директором этой школы – «Расм мактаби» – на площади в старой части Ташкента Эски Джува, а его жена вела там занятия по скульптуре. Интересно, что советская власть придавала большое значение внедрению новой культуры в сознание местного населения. Ученики этих школ даже освобождались от воинской повинности. А ведь время было тревожным и голодным. По вечерам учителя этих школ писали плакаты и карикатуры на баев и мулл, призывали бороться с басмачами и за раскрепощение женщин. Тамто и произошло знакомство О. Мануиловой с А. Волковым, Б. Лавреневым и А. Николаевым, последний выделялся из всех. Позднее, когда в 1937 году судьба вновь свела ее с Усто Мумином, Мануилова, приехав в Ташкент, получила неоценимую помощь от него не только как от главного художника проекта, в котором она работала под его началом, но и как от великолепного знатока местной культуры. Для оформления входа в Узбекский павильон ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки) Мануиловой поручено было создать образ дутариста и бубниста. Усто Мумин повел ее в старый город, где у него было много знакомых, водил ее по закоулкам махаллей, по чайханам и мечетям, чтобы обратить ее внимание на типажи и особенности народной жизни. Музыканты показывали свои номера, устраивая для них концерты, причем там не было ни одной женщины. Удалось даже познакомиться и поприсутствовать на концерте известного танцора при дворе Эмира Бухарского, Алиева, чья пластика, несмотря на его уже зрелый возраст, была весьма экзотической. Усто Мумин водил Мануилову и в театр Хамзы, и на базары, что помогло ей в раскрытии национальных образов. Одновременно с трепетной любовью и интересом к наследию узбекской культуры и религии

(как известно, художник принял мусульманство, взял псевдоним, изучал суфизм и его философию, ходил в национальной узбекской одежде) Усто Мумин был активным борцом с пережитками прошлого по линии агитпропа. Он работал во многих книжных и газетно-журнальных издательствах, был главным художником сатирического журнала «Муштум» («Кулак»), создал многочисленные агитационные плакаты по укреплению социалистической трудовой дисциплины («Все мужчины на сбор хлопка!» 1933 года), писал реалистические полотна («Белое золото» 1934 года).

Однако, как вспоминала искусствовед Л.В. Шостко, работавшая в Союзе художников УзССР в конце 1950-х годов, имя Николаева воспринималось, как ругательство. Не случайно многие официальные критики и искусствоведы избегали писать о его творчестве, либо писали только о политкорректных произведениях. К примеру, в монографии маститых искусствоведов М.В. Мюнц и Л.И. Ремпеля «Изобразительное искусство Узбекской ССР», вышедшей в свет в Москве в издательстве «Советский художник» в 1957 году, Николаеву уделено всего 10 строк¹, хотя дана исчерпывающая характеристика эпохи 1920–30-х с анализом «ошибок и заблуждений» первого поколения работников искусства.

Из скудных сведений о жизни Усто Мумина конца 1920-х известно, что он покидает любимый Узбекистан и едет в Ленинград, где, работая в местном отделении «ДетГИЗа», активно окунается в творческие контакты не только с мэтрами авангарда К. Малевичем (у которого он учился в 1919 году в Москве) и П. Филоновым, но и с Верой Ермолаевой, а также с художниками-узбекистанцами В. Марковой, В. Лысенко и Ф. Кравченко. Вскоре, однако, накал общественно-политических страстей гонит его обратно в Узбекистан, где ему кажется, что дышится легче.

¹ Мюнц М. и Ремпель Л. Изобразительное искусство Узбекской ССР. – Москва, 1957. С. 8, 11.

В начале 1930-х, как уже упоминалось выше, Усто Мумин своим трудом и знаниями активно участвует в социалистических преобразованиях, скрыв глубоко в себе свое художественно-философское миропонимание. В 1937 году А. Николаева назначают главным художником павильона «Узбекская ССР» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Группа художников под его руководством создала уникальный проект его оформления, состоящий из нескольких разделов: «Животноводство», «Хлопководство» и др. Зал Каракалпакской АССР был выполнен весьма оригинально, в колорите степей.

В вышеприведенных воспоминаниях О. Мануиловой, ежедневно находившейся возле своего руководителя, рассказывается, как в разгар работы, в 1938 году, произошел внезапный арест А. Николаева, и признанный самым красивым павильон Узбекской ССР был открыт без главного художника, который томился в застенках далекого Тайшета. (В Центральном архиве МВД имеются фото- и киноматериалы этого павильона, который в 1947 году был перестроен.)

Что произошло – не ясно до сих пор. На сегодняшний день единственным официальным объяснением являются документы, полученные российским исследователем Э. Шафранской и опубликованные ею в книге «А.В. Николаев – Усто Мумин: судьба в истории и культуре»¹. К сожалению, большинство поклонников его творчества не знает об этой книге.

Если в деле М. Курзина как бы просматривались все предпосылки для карательных мер властей по отношению к открыто диссидентствующему гражданину, то личность Усто Мумина, несмотря на его нестандартность и чрезмерную очарованность эстетикой Востока, не слишком вписывалась в образ политической жертвы. Ходили разные слухи. Кто-то связывал арест с обвинениями в шпионаже в пользу иностранного государства, говорили, что Усто Мумин ходил в горы не

¹ Шафранская Э. А.В. Николаев – Усто Мумин: судьба в истории и культуре. – Москва: Свое издательство, 2014.

для того, чтобы делать зарисовки пейзажей, на самом деле он якобы рисовал и передавал врагам карты местности. Его увлечение суфизмом, когда-то высказанное желание принять сан ишана в первые годы пребывания в Самарканде, даже ношение национальной узбекской одежды на фоне борьбы с реакционными феодально-байскими пережитками воспринимались как вражеская пропаганда.

Кроме того, в зоне особого внимания органов тогда были художники, связанные с Ленинградом – в связи с убийством Кирова и в результате тотальных подозрений в терроризме и попытках свержения советской власти. Усто Мумин быть арестован и по политическим мотивам.

В 1936 году были возбуждены дела против многих деятелей культуры. Кроме В. Лысенко, М. Курзина, Усто Мумина были выдвинуты обвинения М. Гайдукевичу, В. Кайдалову, В. Гуляеву, Е. Бурцеву, И. Казакову, Ф. Кравченко и др. В показаниях свидетелей можно было получить компромат почти на всех художников. В показаниях В. Лысенко и Ф. Кравченко, проходивших по одному делу, Усто Мумин был назван единомышленником Казимира Малевича, и оба были отнесены к «мистикам и проповедникам буржуазной идеологии». Кто-то назвал его монархистом, вспомнив когда-то произнесенный Николаевым тост за упокой души царевича Алексея. Помимо антисоветской деятельности в свидетельских показаниях нередко фигурируют факты об аморальном облике обвиняемых и круга их общения. Потрясают некоторые бумаги, которые не гнушались посылать официальные организации. Так, к примеру, Оргкомитет Союза художников УзССР в лице управделами Лебедевой выслал «справку №184 от 2.X.1937 года о направлении компромата на художницу В. Маркову для принятия соответствующих мер» в г. Ленинград, куда выехала художница на «постоянное место жительства»¹.

Дело Курзина также пестрило различным компроматом о его моральном облике. Что уже говорить о Николаеве?!

¹ Архив музея.

Нас вдруг стали обвинять в необоснованности некоторых высказываний о личной жизни художника. Причем то, что прощают западным искусствоведам, например, Д. Боулту в американском документальном фильме *The Desert of Forbidden Art*, где выплывает эта тема, не прощают нам. Интимная жизнь А. Николаева никогда не представляла для нас специального интереса, разве что в качестве объяснения причин его ареста. Что, кстати, было самым логичным объяснением с точки зрения общественности, которая не видела других «грехов» ни в его творчестве, ни в поведении. К тому же мы никогда не посмели бы вслух касаться столь щепетильного вопроса, если бы не многочисленные свидетельства людей из его окружения¹. Да и что, в принципе, меняется от того, по какой причине талантливый мастер оказывается по ошибке на четыре года в нечеловеческих условиях, изолированным и от общества, и от своего творчества?! (Ольга Мануилова описала, как, по словам жены А. Николаева, он страдал от невозможности творить, как она просила Мануилову походатайствовать за мужа перед Вышинским, которого художница знала, чтобы Николаеву создали в лагере условия для творческой работы. Усто Мумина не выпустили, но просьбу удовлетворили)². Таковы отношения режима и творца. И никакая посмертная реабилитация не вернет всего того, что было потеряно для человечества.

Эротизм его произведений, посвященных прекрасным юношам, – тема бесчисленных дискуссий, как в музее во время экскурсий, так и вне его стен, и, конечно же, в соцсетях³. Среди подобных публикаций, как наиболее серьезную, хотелось бы выделить «реконструкцию биографии художника» Э. Шафранской, которую мы упомянули выше. Автор, максимально и чрезвычайно деликатно приблизившись к истине, дала, пожалуй, самый объективный анализ его творчества. Но

¹ Архив музея.

² Архив музея, личное дело А. Николаева.

³ *Шафранская*. А.В. Николаев – Усто Мумин, 2014.

и назвав свой труд «попыткой реконструкции биографии» художника, тем самым обозначила, что еще остались белые пятна в сложной судьбе этой незаурядной личности.

Закрытость архивов этого периода также способствует поддержанию слухов о судьбе Усто Мумина. Мы неоднократно обращались в соответствующие ведомства в 1990-е годы с целью прояснить судьбу Усто Мумина, но не получили ответа. Информация была любезно предоставлена только Музеем жертв репрессий в Ташкенте, но она, к сожалению, была неполной. Сложилось впечатление, что зарубежным исследователям истории 1920–30-х годов легче получить необходимые материалы, нежели отечественным специалистам. Поэтому ситуация с доступом к сведениям о жизни даже таких видных деятелей, как Усто Мумин, получивших официальное признание и посмертную реабилитацию в 1957 году, через месяц после смерти, пока остается проблематичной. И наши интерпретации основываются на собственных изысканиях, архивах и коллекции произведений, собранных И.В. Савицким.

Нукусская коллекция работ Усто Мумина представлена 89 живописными и графическими произведениями разных периодов его творчества. Наряду с шедеврами, ставшими классикой изобразительного искусства, музей приобрел автопортрет, портреты близких художника, серии эскизов национальных и театральных костюмов. Портреты тружеников, выполненные им во время поездок по областям в составе бригад по заданию руководящих органов, позволяют видеть эволюцию художника от восторженного взгляда и проникновения в многовековую культуру и философию народа до работ социалистической направленности, сделанных в соответствии с социальным заказом.

Особый интерес в этой коллекции представляет именно его раннее творчество. Эти произведения вызывают неизменный интерес и успех у зрителя. Картины «Жених», «Дорога жизни», «Портрет мальчика в меховой шапке» (см. Иллюстрации), серия ранних графических рисунков были показаны во Франции, в России, в трех ее крупнейших музеях, публиковались во мно-

гих изданиях и получили мировое признание. Их отличает не только особая утонченность стилизации, высочайшее мастерство рисунка, но и многозначность. Портреты несут в себе не только внешнюю красоту ангелоподобных лиц прекрасных юношей, но и глубокую философскую символику. Это философия произведения «Дорога жизни», выполненное на деревянной доске, как старинная икона. Концептуально картина отражает поиски Усто Мумина, о которых мы уже говорили. Здесь композиционно разделены рекой реальный и потусторонний мир, а фигуры беседующих мы понимаем как отсылку к одной из важных тем суфизма – учении об усто и шогирде (учителе и ученике), многозначны и цвета. Конечно же, такое творение требует подготовленного зрителя. Большинство видит лишь внешнюю красоту, изящество и четкость линий. Это искусство, которое не терпит суеты.

Хотя А.В. Николаев был реабилитирован в 1957 году, настоящее признание его раннего творчества пришло лишь 30 лет спустя...

В 1957 году друг за другом умирают А.Н. Волков, М.И. Курзин, А.В. Николаев (Усто Мумин) и В. Уфимцев. «А вместе с ними закончилась эра художников эксперимента на Востоке»¹.

Об авторе

Мариника Бабаназарова родилась в 1955 году в семье видного ученого и общественного деятеля Узбекистана, академика Марата Нурмухамедова (1930–1986).

В 1977 году закончила с отличием английское отделение факультета романо-германской филологии Ташкентского университета. С 1977 до 1983 года преподавала в Нукусском университете, откуда, по приглашению директора, Игоря Савицкого, перешла работать в музей искусств Каракалпакстана. Выдающийся деятель культуры, ныне получивший мировое признание, И. Савицкий (1915–1984), был другом семьи Нурмухамедовых, что оказало влияние на духовное формирование Мариники.

¹ Галеев И. Виктор Уфимцев. – Москва: Галеев Галерея, 2009.

Работая в музее, М. Бабаназарова получает искусствоведческое образование в Ташкентском театральном-художественном институте, защитив дипломную работу в 1990 году, которую посвятила своему наставнику – «Игорь Савицкий – художник, собиратель, основатель музея». Позднее, доработав ее, она публикует на ее основе книгу-биографию на четырех языках.

После смерти Савицкого Бабаназарова возглавляла музей в течение 31 года (1984–2015).

За годы ее руководства коллекция увеличилась на треть, достигнув почти 100 тысяч единиц хранения. Выстроен современный музейный ансамбль из трех корпусов. Музей получил международное признание и стал четвертым по популярности туристическим направлением в Узбекистане после Бухары, Самарканда и Хивы. М. Бабаназарова организовала свыше 20 международных выставок, к которым были выпущены каталоги. Она – автор ряда публикаций о музее и его собрании, вышедших в разных странах мира. С ее участием подготовлены передачи и сценарии документальных фильмов узбекских, российских и зарубежных продюсеров.

Удостоена высоких званий и орденов Республики Узбекистан и Французской Республики в области литературы и искусства.

Литература

Адаскина Н. 30-е годы: контрасты и парадоксы советской художественной культуры // Советское искусствознание. Сб. № 25. – Москва, 1989.

Ахмедова Н. Живопись Центральной Азии XX века: Традиции, самобытность, диалог. – Ташкент, 2004.

Бабаназарова М. Игорь Савицкий: Художник, собиратель, основатель музея. – Лондон: Silk Road Publishing House, 2011.

Бабаназарова М. Посвящается 100-летию со дня рождения И.В. Савицкого // Золотая палитра, 2015, № 1.

Бабаназарова М., Лысенко В.А. // Энциклопедия русского авангарда / ред. Ракитина В., Сарабьянова А. – Москва: Глобал Эксперт энд Сервис Тим, 2013. Т. 2.

Вайль М., Тихомиров Д. Радение с гранатом. – Ташкент, 2006.

Галеев И. Венок Савицкому: Живопись, рисунок, фотографии, документы. – Москва: Галеев Галерея, 2011.

Галеев И. Виктор Уфимцев. – Москва: Галеев Галерея, 2009.

Еремян Р. Усто Мумин (А.В. Николаев). – Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1982.

Искусство Узбекистана на современном этапе социокультурного развития // Материалы семинаров, докладов и коллоквиума экспертов. Швейцарское Агентство по развитию и сотрудничеству. – Ташкент, 2006.

Искусство Узбекистана: динамика идентичности // Материалы коллоквиума III. Швейцарское Агентство по сотрудничеству и развитию. – Ташкент, 2007.

Мец А. Мусульманский ренессанс. – Москва: Наука, 1973.

Мюнц М., Ремпель Л. Изобразительное искусство Узбекской ССР. – Москва, 1957.

Нурмухамедова И. Два директора – две судьбы. Из истории Нукусского музея искусств им. И.В. Савицкого // Золотая палитра, 2015, №1 (12).

Ремпель Л. М. Искусство советского Узбекистана. 1917–1972. – Москва: Советский художник, 1976.

Ройтенберг О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были... Из истории художественной жизни 1925–1935. – Москва: Галарт, 2004.

Такташ Р. Михаил Курзин (на эстонском языке). – Таллин: Kunst, 1971.

Туркестанский авангард // Каталог выставки в Государственном музее Востока. – Москва, 2009.

Умаров А. Портретная живопись Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1968.

Уфимцев В. Мы называли себя новаторами. – Москва: Пинакотека, 2007.

Хакимов А. Искусство Узбекистана. История и современность. – Ташкент: Санъат, 2010.

Шафранская Э. А. В. Николаев – Усто Мумин: судьба в истории и культуре. – Москва: Свое издательство, 2014.

Эгамбердыев А. Жанровая живопись Узбекистана. – Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1989.

Каталоги и альбомы ГМИ РК имени И.В. Савицкого

Акилова К. Сокровище Нукуса // Каталог выставки в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. – Москва, 2017.

Забывтые полотна. Живопись и графика из собрания Нукусского музея // Каталог выставки. – Москва, 1988.

Русский авангард. Графика из собрания Нукусского музея искусств Каракалпакстана. – Кемниц, 1995.

Савицкий И. Государственный музей искусств Каракалпакской АССР. – Москва: Советский художник, 1975.

Саидов А., Акилова К. Лувр в пустыне. Книга-альбом. – Ташкент, 2017.

Собрание Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. И.В. Савицкого. Сер. «Культурное наследие Узбекистана». Т. IX / сост. К. Акилова. «Uzbekistan Today». – «Zamon Press INFO». Ташкент, 2017.

«Советское искусство 1920–1930-х годов». Из собрания ГМИ ККАССР им. И.В. Савицкого. – Ленинград: Аврора, 1991.

Турутина С.М., Лошеньков А.Б., Дьяченко С.П., Ковтун Е., Бабаназарова М. М., Газиева Э. Д. «Авангард, остановленный на бегу: Альбом». – Ленинград: Аврора, 1989.

Хакимов А. Авангард XX века // Из собрания ГМИ РК им. И.В. Савицкого. – Ташкент, 2003.

Литература на иностранных языках

Babanazarova, M. Orientalist art in the Savitsky collection // Cultural orientalism and mentality. Vol. I. – Milan, 2015, p. 23–35.

Babanazarova, M. Savitsky Karakalpakstan Art Museum in Nukus: Guide-book. – Tashkent: Silk Road Media, 2006.

Coldefy-Faucard, A. Les Survivants des Sables Rouges // Art russe du Musee de Noukous Ouzbekistan 1920–1940. – Caen: Conseil Regional Basse-Normandie, 1997.

Galeyev, I. Homage to Savitsky: Collecting 20th century Russian and Uzbek Art. – Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2015.

Kuteinikova, I. The Road to the New East // Russia's Unknown Orient: Orientalist Painting 1850–1920. Catalogue of the exhibition Russia's Unknown Orient. – Groningen, 2010.

The Anthology of Fine Arts of Uzbekistan. Vol. I. Painting. – Tashkent: Academy of Arts of Uzbekistan, 2009.

Гульдана Сафарова

**«Наш лагерь в город перерос...»
Искусство репрессированных художников
в Караганде (конец 30-х – начало 60-х годов
XX века)**

*Наш лагерь в город перерос,
Бульварами кругом оброс,
И кости, ржавые шипы
Уж не торчат среди тропы...*

Лев Премиров

Если жизнь занесет вас в небольшой казахстанский город Караганду, выйдя из поезда, загляните в залы ожидания железнодорожного вокзала и посмотрите наверх, где увидите фрагменты скульптурных фризов советского периода. А потом прогуляйтесь по старым улицам города. Здесь еще сохранились здания сталинской постройки с фасадами классических форм, с арочными входами во двор, с лепниной и резными балкончиками, а кое-где остались и оформленные художниками экстерьеры советского периода. На главном проспекте Бухар-Жырау – Дворец культуры горняков постройки 1952 г. Антаблемент его портика венчают шесть скульптур, олицетворяющих единство труда, науки и искусства.

Там же, на главном проспекте, находится местный музей искусств. Посетив его, вы увидите коллекцию



Дворец культуры горняков.
1950-е годы (фото П. Кунина)



С.Ф. Шкурацкий. Площадь Гагарина. Караганда

картин ссыльных художников и почувствуете особую энергию присутствия визуальной культуры высокого художественного уровня, свойственную разве только большим столичным городам. Эта особая энергия была привезена художниками-заключенными Карлага, прошедшими здесь, на казахстанской земле, через трудные испытания: голод, тяжелую физическую работу, насилие, подавление творчества... История изобразительного искусства региона начинается с них.

«1935 год. Май. Весна в полупустыне <...> Но зачем сюда попал культурный Петербург? Каким образом интеллигент Петербурга полагал, что он, названный врагом народа, будет встречать весну тут? Сочетания, недопустимые для бреда... Длинные бараки, в которых не может жить надежда, раскиданы на одном животе великана. Они окружены двойным рядом проволоки. Над проволокой – вышки, а в них стоят тулупы охранителей с ружьями. И еще в особом помещении собаки – немецкие овчарки. Ловить беглецов. Каторга...» (Из воспоминаний художника-авангардиста В. Стерлигова, ученика К. Малевича)¹.

¹ Плетникова Л.Н., Г.М. Сафарова. Когда искусство уходило из памяти. – Караганда, 2001. С. 49. Издание осуществлено при поддержке Фонда Сорос-Казахстан.

«1944 год. Институт. Снова жизнь – как казалось. А ожидало худшее: по сфабрикованному делу – девять долгих лет сталинских концлагерей. Ухта. Балхаш. Подавление личности, издевательства, голод, унижение, непосильный труд. Смерть рядом. И искусство уходило из жизни. Даже из памяти. Казалось, конец всему» (Из воспоминаний Л. Кропивницкого)¹.

Лагерное заключение, ссылка и расстрел – главные инструменты сталинских репрессий 30-х годов. Карлаг был создан в 1931 году и стал мощной машиной, которая исправно на протяжении двадцати с лишним лет перемалывала судьбы людей, неугодных власти.

Лагерь – это особый мир, жесткая система выживания. И в то же время это была микромодель советского социума, в которой полагалось вести культурно-воспитательную работу. Структура Карлага была довольно громоздкой. Имелись многочисленные отделы: административно-хозяйственный (АХО), учетно-распределительный (УРО) и т. д. В том числе, был культурно-воспитательный отдел (КВО). В рамках этого подразделения в лагерной системе были созданы мастерские, в которых художники занимались оформительской работой, были построены клубы культуры, организованы агитбригады, спектакли, изостудии и выставки художников. В состав агитбригады входили музыканты, актеры, художники.

Ссылка. Ссылному определялось место жительства в сельской местности, и он должен был постоянно отмечаться в органах надзора. В 30-40-е годы в Караганде не было отделения Союза художников, через который художники обычно получали работу. К тому же жизнь в селе сама по себе дает очень мало возможностей для людей такой профессии. Поэтому ссылные были вынуждены идти на любую работу, чтобы не умереть с голоду.

Ссылными также считались художники, которым запрещалось жить в больших городах после освобождения из лагеря.

¹ Сафарова Г. Когда искусство уходило из памяти // Индустриальная Караганда, 1995, 15 сентября.

По предписанию эти художники жили и работали некоторое количество лет в Караганде. Кто-то остался жить здесь до самой своей смерти, но большинство вернулись в свои родные города.

Этот трудный карагандинский этап жизни прошли-прожили разные художники: известные в масштабах страны или в масштабах своих городов и регионов, обычные скромные художники-оформители, студенты художественных вузов, арестованные в стенах альма-матер, художники-любители... Сложно сказать, сколько их прошло через лагерь, сколько было отправлено в ссылку...

Точки судьбы – карагандинский этап жизни и творчества известных художников¹



Генрих Фогелер – немецкий художник, представитель югендстиля (модерна). Был депортирован в 1941 году в с. Корнеевка Карагандинской области. Казахстанская земля стала последним этапом его жизни. В 1942 году Фогелер скончался от недоедания и болезней в сельской больнице села Хорошевское.

Генрих Фогелер.
Семь лучей Сириуса. 1918 г.²

Вера Ермолаева – известный художник-авангардист, сподвижница К. Малевича. В 1934 году была репрессирована и этапирована в Карлаг. В 1937 году ей было предъявлено новое

¹ Составлено по материалам исследований Иваниной Н.И., Плетниковой (Гужиковой) Л.Н., Сафаровой Г.М.

² Собственность Завориной С.Г.

обвинение, на основании которого она была расстреляна здесь же, в Карлаге.

Артур Фонвизин – участник знаменитых объединений 1910–1920 годов «Голубая роза», «Бубновый валет», «Маковец». Был выслан за немецкое происхождение в 1942 году в Караганду. Благодаря хлопотам известных советских художников в 1943 году вернулся в Москву. В творческой судьбе остался след в виде серии акварелей «Старая Караганда» (см. Иллюстрации).

Владимир Эйферт – блестящий художник, последователь русского импрессионизма, эксперт по антиквариату, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина. В 1941 году был депортирован в Казахстан. Место поселения – село Пушкино Карагандинской области, в 1943 году художнику разрешили жить в Караганде. Владимир Эйферт как художник-педагог внес самый значительный вклад в историю искусства региона.

Владимир Стерлигов – ученик Малевича, дружил с В. Ермолаевой и Л. Юдиным, вместе с ними разрабатывал принципы «живописно-пластического реализма». В 1934 году был репрессирован и до 1938 находился в Карлаге. Впоследствии стал известен как художник Второго русского авангарда.

В.В. Стерлигов.
Старец. 1960-е годы¹.



¹ Собственность Стерлигова А.Б.



Л. Кропивницкий.
Автопортрет с волком¹

Лев Кропивницкий – прошел Ухтижемлаг Коми АССР и Степлаг КазССР. После освобождения два года работал вольнонаемным во Дворце культуры Балхаша (сценография, режиссура, руководство изостудией). К балхашскому периоду относятся его первые опыты в абстракции. Именно здесь, на казахстанской земле, произошло формирование его нового творческого метода. Впоследствии стал известным московским художником-нонконформистом («Лианозовская группа»).

Александр Чижевский – не только знаменитый биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации, но и художник-любитель. В 1942 году был репрессирован и сослан в Каралаг. После освобождения до 1959 года жил в Караганде.

Йокояма Мисао – известный японский художник. В Караганду попал как военнопленный (с 1945 по 1950-е годы). После возвращения в Японию Йокояма Мисао в январе 1956 года открывает персональную выставку по карагандинским впечатлениям и получает первое признание в Японии.

Роберт Граббе – известный график, художник-иллюстратор, работал в технике декупажа. Ученик Д.И. Митрохина, Е.С. Кругликовой, В.Д. Замирайло. В 1951 году приезжает работать в Караганду. Место работы – художник предпри-

¹ Собственность Сафаровой Г.М.

тия Карагандагипрошахт Предположительно, основным мотивом приезда было желание избежать репрессий. Умер в Караганде в 1991 году.



Р.А. Граббе. Экслибрис личной библиотеки Граббе¹

В Карлаге отбывал срок *Петр Иванович Соколов* – главный художник Большого театра. Точная дата его смерти неизвестна. Предположительно – 1937 год. В воспоминаниях В. Стерлигова есть фрагмент о П. Соколове и о его картине «Политбюро», написанной в Карлаге. Это одно из редких свидетельств, когда художник в условиях лагеря написал работу, в которой была критика власти².

Список художников огромен. Каждый из них по-своему значим, каждый из них был подавлен огромной машиной власти. Многие художники после тяжелых лет ссылки не смогли реализовать себя в полной мере.

Судьба выстроила несколько сюжетов жизни ссылных художников.

Сюжет первый – искусство в условиях подавления личности (Карлаг).

Сюжет второй – художники и город, возникновение и становление искусства в регионе благодаря потенциалу репрессированных художников.

¹ Собственность Сафаровой Г.М.

² Воспоминания Стерлигова В. (см. *Турутина С.М., Лошеньков А.Б., Дьяченко С.П.* Авангард, остановленный на бегу: Альбом. – Ленинград: Аврора, 1989. С. 14–20).

Сюжет первый: искусство в условиях подавления

Осталось не очень много свидетельств культурной жизни Карлага, жизни художников в ссылке. Первые глубокие исследования по искусству репрессированных художников начались в конце 80-х годов с момента создания в Караганде областного музея изобразительного искусства. Сотрудники музея ходили по мастерским, ездили в Москву и другие города СССР. Еще можно было кого-то из художников застать в живых, записать их воспоминания и приобрести в коллекцию музея картины, графику, скульптуру, документы. В печати стали публиковаться письма, заметки о том, что пришлось пережить в лагерях. В конце 1990-х – начале 2000-х годов архив Карлага был открыт для исследователей. Именно в то время удалось найти некоторое количество документов (протоколы допросов, объяснительные, постановления), благодаря которым стало возможным восстановление хотя бы фрагментарно истории их пребывания в лагере...

Генрих Фогелер: «...Степь здесь без деревьев, кустарников. Ветер... Ветер... Сильная буря. Это очень плохо для моей простуженной груди. Конец жизни я представлял себе по-другому...» Из письма Г. Фогелера Теодору Плевье от 20.10.1941¹.

Лев Кропивницкий: «Из Постановления 7?19 от 4 августа 1949. ...з/к Крапивницкий разрезал стеклом руку, хотел совершить попытку самоубийства, и не вышел на работу безовсяких уважительных причин.

Постановил: Заключение Кропивницкого за совершенный проступок водворить в карцер на 5 суток...» (Прим Г.С. – орфография сохранена как в оригинале). Из личного дела Л. Кропивницкого. Архив Карлага².

¹ Попов Ю. Г. Последние дни Генриха Фогелера : находки краеведа о пребывании известного художника в Центральном Казахстане. – Санкт-Петербург: Всерус. соборь, 2008.

² Копии документов из личного архива Сафаровой Г.М. и Плетниковой Л.Н.

Вера Ермолаева: «Будучи принята как художник для подготовки к выставке дала прекрасные плакаты, работает с увлечением, в частности и теперь при подготовке к Московской выставке. Заслуживает зачета как ударник». Из производственной характеристики карты зачета рабочих дней заключенного. Личное дело № 91342». Из личного дела Веры Ермолаевой. Архив Карлага¹.

А вот копия ее карты зачета рабочих дней².

Управление Карагандинского Исправ.-трудового Лагера НКВД

Карта л-д. № 91342 А

ЗАЧЕТА РАБОЧИХ ДНЕЙ ЗАКЛЮЧЕННОГО

1. Фамилия Ермолаева

2. Имя Вера Отчество Михайловна

3. Год рождения 1893

4. Кем осужден и когда Особ. совещ. 1931 НКВД СССР

указать название заключенного края, района, зоны

5. Ст. УК СОЗ срок 3 лет

6. Социальное происхождение _____ положение СМ. Выход

6-а. Национальность Русская подданство СССР

7. Профессия и специальность Художник

8. Категории трудоспособности _____

9. Время прибытия { В лагерь _____ 193 г.
В Карлаг 14/11 - 193 г.

Нач. УРЧ _____ * отделения

10. Зачету подлежит с 30-12-1931 193 г.

193 — год

В том же личном деле есть постановление о расстреле В. Ермолаевой. 25 сентября 1937 года она должна была освободиться и еще не знала, что на следующий день ее расстреляют...

¹ Копии документов из личного архива Сафаровой Г.М. и Плетниковой Л.Н.

² Копия документа хранится в личном архиве Сафаровой Г.М. и Плетниковой Л.Н.

А вот что пишет в своем заявлении в ЦК ВКПб В. Эйферт: «В ноябре (1942 – прим. Г.С.) мне колхоз поручил работу ночного сторожа. Месяц дежурств, по 12 часов без перерыва, на ветру и холоде, без тулупа привели к заболеванию плевритом; я лежал месяц и до сих пор не поправился...»¹.

Когда видишь произведения художников, прошедших ссылку или лагеря, то есть определенное несоответствие ожиданий. В их работах нет драматизма и пережитых страданий. Власть запрещала художникам писать все, что касалось лагерной обстановки. Разрешались картины патриотического содержания, портреты, копии с репродукций и т. п.

Есть свидетельство очевидца Е.М. Анцелович-Зинченко о художнике *А. Григорьеве*: «Сухонький и седенький человек с прозрачным лицом и тихим голосом жил не в бараке, а в крохотной, но отдельной комнатухе на задах Долинской конторы. Художник не имел право писать – нет, не картины, не пейзажи. А только портреты, лишённые лагерной атрибутики, и делать копии с репродукций известных полотен с открыток. Открытки я покупала во время своих поездок в Караганду, часто помогала Григорьеву в изготовлении основы для картин – распарывала мешки, штопала, художник их готовил к работе и писал на холстах»². Этот сухонький и седенький человек был в свое время в 20-е годы одним из организаторов и руководителей Ассоциации художников дореволюционной России (АХРР), а также Союза Советских художников.

Известны очень редкие случаи, когда художник рисовал на запрещенные темы и ему удавалось утаить рисунки от обысков (шмона), а затем вынести их на волю. Так произошло с *Юло*

¹ Из архива Карагандинского областного музея изобразительного искусства. Плетникова, Сафарова. Когда искусство уходило из памяти, 2001. С. 63.

² Там же. С. 18.

Соостером, часть рисунков которого хранится в московском музее «Мемориал»: «В лагере Юло работал художником. Днем отсыпался, а ночью рисовал. Заключенные заказывали ему портреты, рисовал он их за 5 рублей. Но это не все. Он еще, в надежде как-то переправить рисунки домой, тайком зону рисовал. За это у него могли быть большие неприятности, но иначе Юло не мог». (Из воспоминаний жены Л. Соостер¹)

Впоследствии в конце 50-х – начале 60-х годов Юло Соостер стал знаменит как художник московского андеграунда (см. Иллюстрации).

В конце 80-х годов в Караганде открытием стали рисунки и стихи *Льва Премирова*. Он прошел тяжелые лагеря в Ухте и Балхаше. Остался жить в Караганде и не смог реализовать себя как художник. Умер в 1978 году. Лагерная жизнь была воспроизведена им по памяти. И это стало главным лейтмотивом его искусства до самой смерти: «Зачем же я повторяюсь? Я вынужден так делать. Я размножаюсь. Я знаю, что мои писания, мои рисунки, все мои труды гибнут, они ненавистны людям, стоящим у власти, и нестерпимы для людей, вынужденных с ней мириться»².



Обыкновенный развѣд

Л. Премиров.
Рисунок из дневника³.

¹ Из архива Карагандинского областного музея... С. 46.

² Там же. С. 40. Дневник Л. Премирова хранится в фондах Карагандинского областного музея изобразительного искусства.

³ Собственность Карагандинского областного музея изобразительного искусства.

Вот еще один документ о художественной жизни Карлага от 8 июня 1944 года¹.

СССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

4

№ 26 _____ 1944 г. Выходной _____ 19
На № _____ 1944 г.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Исправительно-Трудовые Лагеря
Тулунское Управление

КВО

№ 4/26874

Москва, ул. Басовая, дом 10
Телефон: 466-10-10

НАЧАЛЬНИКУ КВО КАРЛАГА НКВД
с/оф. ХАНЕНКО

Направляется в копилку отделе о работах художников-мастеров прилагательный список на выставку-смотр при КВО НКВД в НКВД:

1. МАКАРОВА	- "Увод в рабство".
2. МЕНИЦКОЙ	- "Клятва пионера".
3. ИЗНАР	- "Восстание".
4. АРТОБАТСКОЙ	- "Мать с убитым ребенком".
5. МАТКОВСКОЙ	- "Из часу назад".
6. ПЛЕТНИКОВОЙ	- "Косер с пловарих".

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 6 листах.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА КВО НКВД СССР
КАМЫШ ГОВЕРСКОГО (ИЗДАВЦОВ)

2/6/44

Речь идет о выставке-смотре КВО-ГУЛАГ НКВД, на которой были представлены 6 работ художниц Макаровой, Меницкой, Изнар, Артобатской, Матковской. В документе перечислены названия работ, которые дают представление о том, что разрешалось рисовать художникам в лагере. Названия говорят сами за себя: «Клятва пионера», «Увод в рабство»... Подобные выставки проводились в клубах всех отделений лагеря.

В тех же отделениях работали лагерные изостудии, а точнее – кружки рисования. Об этом есть воспоминание *Дагмары Евстешинной*: «Моя семья находилась на поселении в поселке Долинка (от Доля) в Карлаге НКВД. Помню клуб, куда я ходила в кружок рисования, который вела женщина-художник, заключенная. На занятия ее приводили под конвоем стрелки с ружьями. Каждую свободную минуту она рисовала свою дочь,

¹ Копия документа хранится в личном архиве Сафаровой Г.М. и Плетниковой Л.Н.

которая умерла в шестилетнем возрасте. Эта женщина писала большую картину маслом на выставку по прилагаемому эскизу. Эскиз она впоследствии подарила мне...»¹. Возможно, эта лагерная изостудия была одной из первых в регионе, что является немаловажным фактом для истории культуры Караганды.

О многих упомянутых выше художниках есть только частичная информация: Артобатская вела изостудию не только в клубе Долинки, но и Спасска. Наталья Изнар, потомок видного французского якобинца Иснара, была арестована как член семьи изменника родины. В лагере она оформляла спектакли «Где-то в Москве», «Урок жизни». Сохранились её письма из Карлага, в которых она осмысляет годы, проведенные в Казахстане: «А ведь за эти годы я так выросла, так от многого малодушного, истеричного избавилась»². В Карлаге сложилась дружба трех художников – Натальи Изнар, Аллы Васильевой и Марии Мыслиной. Во многом их объединяло сходство мышления, учеба у знаменитых мастеров в лучших художественных вузах Москвы и Ленинграда.

Мария Мыслина была малоизвестным скромным художником, но при этом имела незаурядное художественное дарование. После Карлага работала в Чебоксарах и Владимире. В 1955 году смогла вернуться в Москву. В лагере Мыслина «работала на красильной фабрике, в вышивальной мастерской, писала маслом и гуашью, вместе с художником Л.И. Покровской оформляла самодеятельные спектакли»³ (см. Иллюстрации).

¹ Письмо Евстешинной Д. из личного архива Е.Б. Кузнецовой.

² Сафарова Г. Когда искусство уходило из памяти // Индустриальная Караганда, 1995, 15 сентября. Письма Н. Изнар хранятся в Карагандинском областном музее изобразительного искусства.

³ *Tsibirinka*. Судьбы... Мыслина Мария Владимировна [Электронный ресурс] <https://tsibirinka.livejournal.com/451675.html>. – Live Journal, 2014, 6 января.

В биографиях репрессированных художников довольно часто упоминаются лагерные спектакли, которые ставились в клубах культуры и были очень популярны в Карлаге. Одно из самых ярких воспоминаний оставил В. Стерлигов: «Мы поставили для «вольных» спектакль «Доходное место». Мы – это «заки». «Заки» – заключённые, ты – не ты, а «зэк» или «зак». Режиссеры, артисты, художники и пр. ЗЭКИ. Художники – это П.И. Соколов, В.М. Ермолаева, Володя Дубинин и В.В. Стерлигов. Все вместе – это Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Одесса и другие города.

Дамы «вольнонаемных», то есть жены охранников, устроили нам банкет!!! <...> особенно обольстительна была «дама» – жена начальника третьего отдела (самого грозного) Ключина. После трапезы она запускала свою ручку в вазы с конфетами и горстями игриво бросала их нам. Мы принуждены были ловить их»¹.



Развалины бывшего клуба культуры в Долинке
(фото Э. Ваззолера).

¹ Авангард, остановленный на бегу. С. 14–20.

***Сюжет второй:
возникновение и развитие изобразительного
искусства в регионе***

В 30–40-е годы Караганда был небольшим шахтерским городом, в котором только начали создаваться институции в сфере культуры и образования. Были созданы театры, клубы культуры, построен первый кинотеатр, открылся Учительский институт. Но не было такой государственной организации, как Союз художников. Как известно, эта институция регулировала деятельность художников, распределяла работу и оплату. Без нее художник выживал с трудом. В каталоге Владимира Стерлигова есть всего одна строка о том, что в конце 30-х годов Владимир Стерлигов возглавлял оргбюро Союза художников Караганды. Однако никаких следов этого оргбюро пока найти не удалось.

До создания в Караганде художественно-производственных мастерских и отделения Союза художников ссыльные художники были вынуждены искать любые виды работ, чтобы иметь средства к существованию. Самыми распространенными были оформительские работы (плакаты, вывески, объявления, доски почета, графики социалистических соревнований, портреты передовиков, интерьеры общественных зданий и т. п.), сценография в местных театрах и клубах культуры. Этот пласт культуры до конца так и не изучен. До сих пор еще существует шанс увидеть на окраине Караганды в скромном здании какого-нибудь бывшего карагандинского управления, завода или столовой шедевральною картину ссыльного художника, мимо которой ежедневно проходит много людей. Слово «мимо» – это как раз о них, о тех, кто малоизвестен и забыт. О них можно написать всего несколько строк, потому что следов их пребывания на карагандинской земле почти не осталось. Не осталось, потому что здесь иное отношение к визуальному искусству, которое было сюда привнесено как раз ссыльными художниками.

Сегодня в Караганде существует мало объектов, которые оформляли ссыльные. Один из них – железнодорожный вокзал 1952 года постройки, над которым работала группа местных художников, в основном состоявшая из бывших «зэков». Сохранилась лишь часть скульптурных фризоз в залах ожидания.

Удалось установить имена этих художников¹.

Евгения Овощникова – скульптор из Харькова, в 20-е годы училась в мастерской Голубкиной; Леонид Усайтис – как сын врага народа был в трудармии на Урале, а затем приехал в Караганду к матери; Анна Шитикова – Москва, выпускница Московского художественного училища памяти 1905 года, позднее иллюстрировала казахскую сказку «Ер-Тостик», работа хранится в Государственном музее искусств им. А. Кастеева; Нестор Кисилевский – из Львова, Юрий Гуммель – впоследствии известный карагандинский скульптор, ученик Е.С. Овощниковой, автор эскизов скульптурных фризоз, Николай Бакланов – местный скульптор...



Фото Н. Рыбецкого. 1955 г.²

¹ По материалам совместных исследований Сафаровой Г.М. и Плетниковой Л.Н. (Тужиковой).

² Из личного архива Рыбецкой З. В 2016 г. фото переданы в собственность Карагандинскому областному музею изобразительного искусства.

В 30–50-е годы ссыльные художники находили себе работу в Каздрамтеатре или Русском драматическом театре. Вот неполный список имен этих художников: К.К. Самусьев (из Ленинграда), А.А. Соглобов (из Севастополя), Л. Гамбургер (из Москвы, выпускник Строгановского училища), Е. Левина-Розенгольц (из Москвы, ученица Р. Фалька, после лагерного заключения в Красноярском крае была в ссылке в Караганде), А.Ф. Алмазов (выпускник ВХУТЕМАСа, учился у А. Осьмеркина), Д.Г. Крейн (из Киева)...¹.

«Тут театр. Это дворец культуры редко красивый, вы не представляете. У нас пойдет «Сказка» на казахском языке, и мне придется столкнуться с интересной работой: тут и змеи, и лошади, и великаны, и красивая роспись, и орнаментальная скульптурная работа, словом, всякая...» (Из письма Евы Левиной-Розенгольц от 17 октября 1954 года)².

В областном архиве Караганды хранятся подшивки газеты «Социалистическая Караганда». На страницах газет 50-х годов можно увидеть карикатуры, подписанные «Л. Гаврилов». Это был творческий псевдоним художника Л. Гамбургера, депортированного в 1941 году за немецкое происхождение. Леонид Гамбургер работал не только в газете и в театре, он также оформлял первую экспозицию областного историко-краеведческого музея.



Л. Гамбургер. Карикатура на международную тему в газете «Социалистическая Караганда». 1950 г.³

¹ По материалам совместных исследований Сафаровой Г.М. и Плетниковой Л.Н. (Тужиковой).

² Плетникова, Сафарова. Когда искусство уходило из памяти. С. 32.

³ Карагандинский областной архив. Копия карикатуры хранится в личном архиве Сафаровой Г.М., Плетниковой Л.Н. (Тужиковой).

Художники-педагоги и их роль в становлении изобразительного искусства в регионе

Перед людьми, проходящими через жесткие испытания, всегда стоят вопросы: как научиться выживать, в чем смысл такого сюжета жизни и что делать дальше?

Одни внутренне ломались, впадали в состояние безысходности, и уже потом, в течение всей последующей жизни, травмирующий опыт становился постоянным спутником их душ.

Другие, пережив страх столкновения с властью, определяли себе скромное тихое существование, не желая больше «высовываться», возвращались после Караганды в свои города и занимались обычной оформительской деятельностью. Таких художников было больше всего.

Третьи искали новые пути в искусстве, как это было с В. Стерлиговым, Л. Кропивницком, Ю. Соостером. Лагерный опыт стал точкой бифуркации в их художественном сознании, способствовал изменению творческого метода. Вернувшись в Москву, они совершили успешный прорыв в искусстве.

Четвертые – это особые для казахстанской земли люди. Почему особые?

Они полюбили эту безбрежную казахскую степь, этот беспрестанно дующий ветер, они посвятили свою жизнь карагандинской земле. Они нашли смысл своей жизни здесь, в Казахстане. Они остались жить здесь. Речь идет о художниках-педагогах Владимире Александровиче Эйферте и Павле Петровиче Фризене. При этом мы нисколько не умаляем заслуги других ссыльных художников, таких как Е. Овощникова, Л. Кропивницкий и других, которые тоже преподавали немного в изостудиях Караганды и Балхаша (карагандинский скульптор Гуммель был учеником Е. Овощниковой).

Однако именно Владимир Эйферт и Павел Фризен сыграли главную, определяющую роль в становлении изобразительного искусства региона.

Владимир ЭЙФЕРТ

Самой значительной фигурой в истории искусства региона является Владимир Эйферт.

Биография В. Эйферта неоднократно публиковалась исследователями¹, поэтому отметим пунктирно главные вехи его судьбы.

20-е годы – Москва, член общества «Жар-Цвет», в этот период сложилась дружба с И. Грабарем.

30-е годы – эксперт по антиквариату в Торгпредствах СССР, директор Государственного музея искусств имени Пушкина в Москве, ученый секретарь и заместитель директора Государственной Третьяковской галереи, член МОСХа.

В 1941 году был депортирован как лицо немецкой национальности в Казахстан.

С 1941 по 1943 год отбывал ссылку в совхозе им. Пушкина Карагандинской области.

В 1943 году получил разрешение на работу в городе, а с 1947 года стал преподавать в изостудии Клуба шахты им. Кирова.

Владимир Александрович Эйферт был не только талантливым художником, представителем русского импрессионизма (см. Иллюстрации), но еще и блестящим педагогом. Его изостудия была настоящей школой высокого художественного уровня. «Он воспитал более ста учеников, организовал первые художественные выставки», – пишет о В. Эйферте искусствовед Н. Иванина². Его воспитанники легко поступали в лучшие ху-



¹ По материалам исследователей Иваниной Н.И., Плетниковой Л.Н. См.: *Тужижова Л. Н.* Советские художники в Караганде конца 30-х – начала 60-х годов. Каталог выставки. – Караганда, 1990.

² *Иванина Н. И.* Его помнят в музеях Москвы. А у нас? // Индустриальная Караганда, 1999, 31 июля.

дожественные вузы страны, и большинство из них, вернувшись в Казахстан, стали собственно карагандинскими художниками. Среди них – Гилярий Гилевский, Николай Жирнов, Илья Хегай, Алексей Цой, Юрий Перепелицын, Владимир Буш.



В изостудии
В. Эйферта¹

Каков был метод художника Эйферта как преподавателя?² Его ученики работали с постановками, изучали анатомию, цветоведение, много внимания уделялось копированию, выезжали на этюды. Известно, что Эйферт ставил для копирования свои картины, так как в Караганде не было музея искусств. По результатам работы изостудии состоялось несколько выставок в Алма-Ате, Москве. В одной из карагандинских газет сообщается, что студию Эйферта посещало 60 человек, на одной из выставок было представлено более 200 картин, из них 22 отобраны на республиканскую выставку самодеятельного изобразительного искусства. Эйферт так и не вернулся в Москву. Он скончался в Караганде в 1960 году. Часть его картин хранится в Карагандинском областном музее искусств, но самые лучшие произведения находятся в фондах Государственного музея искусств имени А. Кастеева (Алматы).

¹ Фото из личного архива Сафаровой Г.М., Плетниковой Л.Н.

² Из интервью с искусствоведом-исследователем Плетниковой Л. (Тужиковой), посвятившей художнику дипломную работу «Жизнь и творчество В. Эйферта» (УрГУ им. А.М. Горького). Дипломная работа не опубликована.

Один из учеников Эйферта Виктор Буш (он был из семьи депортированных) стал его преемником по преподаванию искусства. После окончания в 1964 году Пензенского художественного училища им. Савицкого вернулся в Караганду и 20 лет вел занятия в вечерней школе рабочей молодежи и одновременно – в изостудии Дворца культуры горняков. Ученики В. Буша впоследствии вошли в основной костяк профессиональных художников Караганды.

Павел Петрович ФРИЗЕН

Павел Петрович Фризен – в 20-е годы ученик К. Юона, художественное образование получил в Харькове и Москве. В 1935 году был арестован и отправлен в Карлаг. После освобождения работал художником-оформителем в селе Литвиновка. Затем жил в Караганде и вел изостудию при Дворце культуры горняков с 1955 по 1966 годы. По воспоминаниям современников П. Фризена в студии занимались люди от 12 до 60 лет. Многие ученики Фризена, как и ученики В. Эйферта, поступили в художественные вузы и училища страны, а затем вернулись в Караганду. Среди воспитанников – карагандинские художники Л. Смаглюк, А. Сыров, Ю. Вольф, С. Конуров.



Из наследия художника осталось небольшое количество этюдов, выполненных в реалистических традициях живописи 60-х годов. Умер в Караганде в 1978 году¹.

¹ По материалам исследователей Иваниной Н.И., Плетниковой Л.Н. См.: Тужикова. Советские художники в Караганде конца 30-х – начала 60-х годов.

Недавно в интернете появилось воспоминание бывшего карагандинца и ученика П. Фризена Станислава Мастерова, который занимался в его изостудии с 1960 по 1966 гг. «Если Мурат Ауэзов духовным отцом называет святого Севастиана, то у меня, к крестному, добавляется еще мощная глыба интеллекта, человечности и невероятного обаяния Пал Петровича, которого мы обожали и боготворили. На его 85-летие пришли 25 его учеников и сделали с него 25 портретов. Самое лучшее время жизни – <...> изостудия в Караганде!» (Орфография и стиль высказывания сохранены как в оригинале – прим. Г.С.)¹.

Еще один сюжет...

Фабула этого сюжета довольно замысловата. Она включает в карту нашего повествования город Алматы.

Вот краткие пунктиры судьбы. Известный ныне казахстанский художник Абрам Черкасский был репрессирован, заключен в Карлаг в 1938-м году. Освобожден 19 августа 1940 года и вернулся в Киев. В 1941 г. – эвакуация в Казахстан, в Актюбинск, а из Актюбинска был переведен в Алма-Ату на должность преподавателя Государственного художественного училища. В 1941–1960 гг. – профессор в Государственном художественном училище им. Н.В. Гоголя в Алма-Ате. Среди учеников – известные художники Казахстана С. Мамбеев, К. Тельжанов и многие другие².

Примерно такая же история у Владимира Стерлигова. Был в Карлаге, освобожден в 1938 году, а в 1939 переехал в Подмоскowie. Судьба распорядилась так, что с началом Великой Отечественной войны художник был призван на фронт, в 1942 году после тяжелой контузии и госпиталя попал в Алма-Ату,

¹ *Мастеров С.* Художники Карлага, Караганды [Электронный ресурс] // www.proza.ru/2018/01/24/1783

² Черкасский, Абрам Маркович [Электронный ресурс] // ru.wikipedia.org/wiki/Черкасский,_Абрам_Маркович.

где жил до 1945 года. В Алма-Ате Стерлигов вел активную деятельность: организовал студию в Союзе художников; преподавал в художественном училище; вел литературные передачи на радио; выполнял иллюстрации к детским книгам; участвовал в выставках. В ноябре 1945 вернулся в Ленинград¹.

Таким образом, два художника Карлага, благополучно вернувшиеся после лагеря в свои города, волей судьбы вновь оказались на казахстанской земле. Каждый из них сумел реализовать здесь свой талант художника, педагога, организатора, в разной степени повлияв на художественную ситуацию республики.

Но на этом алма-атинский сюжет не заканчивается...

Рустам Хальфин – блестящий художник-интеллектуал, патриарх или, точнее, «отец» казахстанского Contemporary Art, в молодости учился в Москве. В 1971 году познакомился с Владимиром Стерлиговым. Это знакомство предопределило всю дальнейшую судьбу художника, повлияло на его творческий метод. Через личность Хальфина мятежный новаторский дух авангарда стал одним из источников трансформации искусства Казахстана в середине 90-х годов. Именно в этот период актуальное искусство начало свое наступательное движение в Алма-Ате, освоение новых территорий искусства.

Но это уже другая история...

Примечание от автора Сафаровой Г.М.

В основу статьи «Наш лагерь в город перерос...» положены исследования:

– первых сотрудников Карагандинского областного музея изобразительного искусства (80 -90-е годы): искусствоведа Н. Иваниной, искусствоведа Л. Плетниковой (Тужиковой), искусствоведа Г. Сафаровой, а также карагандинского краеведа Ю. Попова, журналиста Е.Б. Кузнецовой.

¹ Стерлигов, Владимир Васильевич [Электронный ресурс] // ru.wikipedia.org/wiki/Стерлигов,_Владимир_Васильевич

– совместные исследования Г.М. Сафаровой и Л.Н. Плетниковой (начало 2000-х годов) в рамках проектной деятельности Дешт-и-Арт Центра, результатом которой стала книга-справочник «Когда искусство уходило из памяти», изданная в 2001-ом году при поддержке Фонда Сорос-Казахстан.

История поиска следов репрессированных художников не закончилась. Она продолжается новым коллективом Карагандинского областного музея изобразительного искусства.

Об авторе

Гульдана Сафарова – историк искусства, музеолог, куратор.

Образование: филологический факультет КарГУ им. Е. Букетова, Высшая школа искусствознания при Российской академии искусства, культуры и туризма (Москва), институт Bharatya Vidya Bhavan (Дели), Индия.

С 1990 по 1992 – научный сотрудник Карагандинского музея изобразительных искусств, а с 1994 по 2001 годы – заместитель директора музея. С 2001 по 2012 – организатор проектов Дешт-и-Арт Центра (совместно с Л. Плетниковой).

Куратор выставок, музейных экспозиций и авторских выставочных проектов, посвященных теме Карлага, а также образовательных и выставочных проектов Contemporary Art для молодых художников. Все проекты в соавторстве с Л. Плетниковой. Куратор Центрально-азиатского проекта «MUSEUMSTAN», 2006–2008 и 2010–2012 (совместно с Л. Плетниковой). Задача проекта – продвижение инновационных практик в музейной деятельности. Автор исследований и публикаций по культурной политике и искусству Казахстана, музейной практике.

Литература

Великая утопия: Русский и советский авангард 1915–1932 // Каталог выставки. – Москва: Бентелли, Берн: Галарт, 1993.

Валяева М.В., Диденко Ю.В., Левина Е.Б., Шалабаева В.Н. Ева Павловна Левина-Розенгольц: Сборник материалов, каталог выставки произведений // Гос. Третьяк. галерея, Гос. музей изобраз. искусств им. А. С. Пушкина. – Москва: Красная Площадь, 1996.

Иванина Н.И. Его помнят в музеях Москвы. А у нас? // Индустриальная Караганда, 1999, 31 июня.

Изобразительное искусство Казахстана // Каталог Казахской государственной художественной галереи им. Т.Г. Шевченко. Вып. 7. – Москва, 1971.

Ковтун Е.Ф. Дух дышит, где хочет: В.В. Стерлигов. Каталог выставки, статьи, воспоминания // Государственный русский музей. – Санкт-Петербург: Музеум, 1995.

Кузнецова Е.Б. Свой в своего всегда попадет. Карлаг: по обе стороны «запретки». Куст карагана. Историко-публицистический альманах «Слово». Вып. 3. – Алматы: Глагол, 1996.

Кузнецова Е. Последнее прибежище. Нива, 2001, №1.

Кропивницкая Г. (при участии Наталии Кропивницкой). Лев Кропивницкий. Жизнь и творчество. – Москва, 1995.

Музей творчества и быта в ГУЛАГе. Общества «Мемориал» [Электронный ресурс] // <http://www.memo.ru/museum>

Плетникова Л.Н., Сафарова Г.М. Когда искусство уходило из памяти. – Караганда, 2001. Издание осуществлено при поддержке Фонда Сорос-Казахстан.

Попов Ю. Г. Последние дни Генриха Фогелера: находки краеведа о пребывании известного художника в Центральном Казахстане. – Санкт-Петербург: Всерус. соборь, 2008.

Попов Ю. Картины Владимира Эйферта // Шахтерская неделя, 1990, 8 декабря.

Сафарова Г. Когда искусство уходило из памяти // Индустриальная Караганда, 1995, 15 сентября.

Тужикова Л.Н. Советские художники в Караганде конца 30-х – начала 60-х годов. Каталог выставки. – Караганда, 1990.

Театр ГУЛАГа / сост., вступ. ст. М.М. Кораллова. – Москва: Мемориал, 1995.

Талочкин Л.П., Алтатова И.Г. Другое искусство: Москва 1956–1976 гг. – Москва: СП «Интербук», 1991.

Тужикова Л.Н. Без страха душу растерзал // Индустриальная Караганда, 1989, 12 сентября.

Тужикова Л.Н., Сафарова Г.М. Искусство репрессированных художников-немцев в Караганде (конец 30-х – начало 60-х гг.) // Культура немцев Казахстана: история и современность. Материалы Международной научно-практической конференции. – Алматы, 1998, 9–11 октября. Алматы, 1999.

Турутина С.М., Лошеньков А.Б., Дьяченко С.П. «Авангард, оставленный на бегу: Альбом». – Ленинград: Аврора, 1989.

Интернет-источники

Балашов С. Артеология [Электронный ресурс] // <http://arteology.ru/>
Виртуальный музей ГУЛАГа [Электронный ресурс] // <http://www.gulagmuseum.org/>

Мастеров С. Художники Карлага, Караганды [Электронный ресурс] // www.proza.ru/2018/01/24/1783

Соостер Ю.Й. Солнечный день в лагере. 1953 г. Карлаг.

Казахстан. Виртуальный музей ГУЛАГа [Электронный ресурс] // <http://www.gulagmuseum.org/showObject.do?object=310660&language=1>

Стерлигов, Владимир Васильевич [Электронный ресурс] // ru.wikipedia.org/wiki/Стерлигов,_Владимир_Васильевич

Черкасский, Абрам Маркович [Электронный ресурс] // ru.wikipedia.org/wiki/Черкасский,_Абрам_Маркович

Arteology [Электронный ресурс] // Facebook. <https://www.facebook.com/Arteology/>

Tsibirinka. «судьбы... Мыслина Мария Владимировна» [Электронный ресурс] // <https://tsibirinka.livejournal.com/451675.html>. Live Journal, 2014, 6 января.

Материалы государственных организаций

Карагандинский областной музей изобразительного искусства.
Архив Карлага ЦПСИИ при Прокуратуре Карагандинской области.

Карагандинский областной архив.

Материалы общественных и частных архивов

Музей творчества и быта в ГУЛАГе при Обществе «Мемориал» (Москва).

Архив Кузнецовой Е.Б.

Архив Центра современной культуры «Дешт-и-Арт» (Сафарова Г.М., Плетникова Л.Н.).

Асель Кадырханова

Бесконечное время «после». Искусство как инструмент осмысления культурной памяти и травмы в постсоветском Казахстане

Вступление: Время «после»

Новость о конце СССР для меня совпала с концом первых летних каникул. Август 1991 года я проводила в одном из санаториев в прохладных алматинских горах, где яблони уже роняли плоды на сухую траву. Помню, как однажды, после полуденного отдыха, в общей комнате с единственным в здании телевизором собралось непривычно много людей. Передавали чрезвычайные новости: Советский Союз мог распасться. После новостей люди высыпали на улицу и много говорили. Говорили, что надо ждать и все вернется. А если нет – что же будет? Недоумение, радость, страх... СССР не вернулся, наступила хмурая тревожная декада девяностых, шоком вытолкнувшая из затянувшегося советского сна миллионы растерянных людей, внезапно оказавшихся в новой реальности – постсоветской.

Термин «постсоветский», предложенный сначала для обозначения территории и республик бывшего СССР, позднее стал употребляться главным образом в культурологическом контексте, обозначая не столько географический, сколько культурный феномен, который подобно другим «пост-концептам» – постмодернизму, постколониализму – понимался не столько как последовательность или преемственность, сколько как сложносоставность.¹ Префикс «*пост-*» в слове

¹ Марианн Хирш предлагает подобную модель для рассмотрения концепта постпамяти, ссылаясь на метафору Розалинд Моррис о «пост-кон-

«постсоветский» означает, скорее, смещенную перспективу взгляда, нежели новое явление. Советское в постсоветском – его основа, и это значит, что пока мы существуем в пространстве-времени постсоветского, прошлое живет в настоящем, в том, что проникло в кости и кровь и продолжает звучать в смехе, крике, речи, в текстах, надиктованных годами советского строя.

Я хочу предложить метафорическое сравнение: время после СССР – это безвременное пространство травмы. Как аргументирует Кэти Карут, симптомы травмы проявляются и осознаются не сразу, а с опозданием. Более того, именно по признаку своей запоздалости (*belatedness*), травма опознается как таковая – как «конфликт между знанием и незнанием», когда травмировавшее индивида событие пытается прорваться сквозь оболочку сознания, чтобы заявить о своей реальности¹. Иными словами, в момент происшествия, в силу экстремальности травмирующего воздействия, происшедшее ускользает от осознания, но позднее пытается реконструироваться в памяти через навязчивые повторения в попытках воссоздать ситуацию. Карут считает, что переживший травму стремится не забыть ее, так как забыть можно только то, что изначально помнилось, а наоборот, вспомнить – через многократное воспроизведение, с тем чтобы в этом воспроизведении ухватить, что же не дает покоя.

Воздействие травмы теоретически бесконечно, и время не лечит. Если изначально термин «травма» применялся в основном для обозначения телесного ранения (от греческого *trauma* – рана), то начиная с XX века этим словом стали все чаще обозначать рану психическую, вызванную катастрофическим в жизни индивида событием, которая, в отличие от те-

цептах» как Post-it – наклейки на концепт. См. *Hirsch, M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust.* – New York: Columbia University Press, 2012, p. 5.

¹ *Caruth, C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History.* – Baltimore, London: Johns Hopkins University Press, 1996, p. 4.

лесной, не заживает со временем.¹ В жизни общества травмой можно считать некое «предельное событие» – событие экстремальной жестокости, потрясающее основы человечности, которое невозможно до конца осмыслить или отобразить. Такое событие становится, с одной стороны, точкой невозврата, которая делит историю на «до» и «после», с другой – постоянно возвращающимся навязчивым воспоминанием. Если индивидуальная травма является узлом субъективности субъекта, то коллективная травма – след «предельного события» в настоящем – определяет скрытые механизмы социальных взаимодействий.

Один из главных вопросов, который задает постпоколение: уходит ли травма со смертью переживших ее? Или по-другому: если родители были разрушены опытом бесчеловечного насилия, может ли это оставить отпечаток в детях? До какой степени последующие поколения «наследуют» прошлое? Насколько транзитивна индивидуальная травма? Хотя мы не наследуем чужой опыт и воспоминания в прямом смысле, все же они могут передаваться через паттерны поведения, взаимоотношений и смысловых конструкций в обществе – словом, через то неуловимое влияние, которое мы оказываем друг на друга. При этом родительская или семейная травма затрагивает нас в большей степени в силу особенной эмоциональной близости. Если учесть, что травма проявляется по времени позже, она в первую очередь распространяет свое влияние на детей человека, ее пережившего, которые становятся, с одной стороны, вторичными жертвами репродуцированного травматического опыта, а с другой – свидетелями, в коммуникации с которыми этот опыт начинает оформляться в происшествие².

¹ Об этом, в частности, пишет *Pollock, G.* *After-Affects/After-Images: Trauma and Aesthetic Transformation in the Virtual Feminist Museum.* – Manchester: Manchester University Press, 2013, p. 1.

² *LaCapra, D.* *Trauma, History, Memory, Identity: What remains?* // *History and Theory*, vol. 55, no. 3, 2016, p. 375–400.

Для обозначения памяти второго поколения Марианн Хирш предлагает термин *постпамять*. Постпамять – это «гибридная» память тех, кто не переживал событие лично, но в силу эмоциональной близости к пережившим все же «наследует» воспоминание о нем. Хирш считает постпамять очень мощной формой памяти, потому что «*ее связь с объектом памяти медируется не через личное воспоминание, а через воображение и сотворение [заимствованного воспоминания]*»¹. Но кроме воображения постпамять наследуется также через апроприацию: второе поколение отождествляет себя с первым и носит на себе его прошлое.

Если взглянуть на современное казахстанское общество как на общество постпамяти, мы можем увидеть, что оно напоминает лоскутное одеяло, сшитое из фрагментов семейных историй, хранящих следы личных трагедий отцов, матерей, дедов, которые пережили раскулачивания и этнические депортации, голодомор и ГУЛАГ, беженство и репатриацию. Ностальгия по предкатастрофическому прошлому у поколения постпамяти трансформируется в ощущение отрыва от семейной истории, в которую постпамятующий вглядывается пристально в поисках безвозвратно утраченного. Это ощущение утраты проявляется по-разному, если учитывать разные траектории судеб людей, оказавшихся в Казахстане. С одной стороны, Казахстан был одним из основных направлений этнических депортаций в 1930–1950-е гг., но он также был и местом, откуда этнические казахи вынужденно бежали во время коллективизации и раскулачиваний. И поэтому потомки выживших по-разному проживают эту связь с семейной памятью

¹ Hirsch, M. Past Lives: Postmemories in Exile // Poetics Today, vol. 17, no. 4, 1996, p. 420. Адаптируя теорию Хирш, Александр Эткинд, исследующий постсоветскую память, предлагает версию не второго, но третьего поколения. Он считает, что дети наследуют травму родителей, тогда как внукам достается работа скорби и через скорбь – возможность исцеления. См. Etkind, A. Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of the Unburied. – Stanford, California: Stanford University Press, 2013.

и ее местами¹. Иными словами, сталинский террор затронул разные группы по-разному, но объединяющим моментом в их историях становится наличие разрыва в семейной памяти, отрыва от предкатастрофической жизни родителей и наследование травмы.

Наследие сталинизма обсуждалось не раз, и «время после» наступало неоднократно: в шестидесятых в период оттепели, в восьмидесятых, наконец, в девяностых, но интересно, что каждый раз, заводя этот разговор, мы оказываемся в начале понижения. Можно сказать, что существование в постространстве после СССР разворачивает фокус внимания в прошлое. И хотя одержимость памятью – в целом глобальный феномен современности, мне кажется, что человек из бывшего СССР подвержен этой болезни вдвойне, так как интерес к прошлому у него усиливается существованием в неопределенном идеологическом пространстве после тотального и тоталитарного прошлого, которое вызывает смешанные чувства скорби-ярости и скорби-ностальгии. «Время после» обнаруживает себя нелинейностью, в которой общество продолжает существовать в остановленной попытке осмысления. Поэтому я назвала текст «время «после» – бесконечное, прежде всего – потому что вневременное. Оно требует осмысления – в том числе, средствами искусства.

В этом тексте я ставлю цель рассмотреть возможности искусства в работе с постсоветской памятью и травмой. Меня интересует, как искусство может помочь осознанию присутствия травмы, ее следов и симптомов в обществе, а также как оно может облегчить процессы исцеления, если таковое возможно? Кроме того, я рассмотрю мнения авторов о роли художника в

¹ Интересно, что болезненный отрыв этнических казахов в тридцатые годы от традиционной кочевой культуры (насильственное оседание) тоже можно считать видом выселения, и, может быть, массовый интерес к историческим фильмам, картинам, конным памятникам и орнаментам можно объяснить бессознательной скорбью по внезапно ушедшему прошлому, от которого народ отделило «предельное событие» – голодомор.

обществе после тоталитаризма – об этических и эстетических вызовах, которые ставит перед ним необходимость работать с «болью других». Наконец, я расскажу о моих последних работах, в которых я обращаюсь к постсоветской травме.

Между скорбью и бдительностью

Искусство может коммуницировать на невербальном уровне, через непрямое высказывание, и это делает его эффективным инструментом работы с такой текучей, пластичной материей, как память. Искусство умеет говорить, не говоря, использует ненарративные структуры и с помощью аффекта, импликаций, метафор может создавать второй смысловой слой. В то же время искусство легко становится инструментом манипуляции и спекуляции. Ян Ассманн относит художников к так называемым «уполномоченным носителям» памяти. Наряду с историками и писателями, художники участвуют в создании культурной памяти¹. Примером этому может быть официальное советское искусство, массово производившее образы советской утопии. И сейчас этот канон продолжает функционировать и воспроизводиться и частично используется для создания массовой ностальгии по Советскому Союзу, который люди, его не заставшие, «помнят» через фильмы, песни, фотографию, живопись.

Говоря о роли и ответственности художника, работающего с исторической памятью и травмой в Казахстане, я хочу предложить две теории, которые рассматривают роль искусства после событий массовой жестокости. Это уже упомянутая мной теория постпамяти Хирш и теория концентрационной памяти Гризельды Поллок и Макса Сильвермана. На основе тезисов этих авторов я хочу выделить две важные роли художника – как активатора общественной скорби и общественной бдительности.

¹ *Assmann, J. Collective memory and Cultural Identity // The Collective Memory Reader. – New York: Oxford University Press, 2011, p. 213.*

Но прежде всего вопрос: почему необходима скорбь? Зигмунд Фрейд противопоставляет скорбь другим патологическим состояниям, в том числе меланхолии. Скорбь – это естественная реакция на утрату чего-то ценного: дорогого человека, свободы, родины, в отличие от меланхолии – невозможности нормального процесса скорби. Скорбь помогает смириться с утратой через долгий и болезненный процесс принятия и разотождествления с объектом скорби – через *trauerarbeit* – работу скорби (траур)¹. Интересно, что Александр Эткинд считает, что в СССР и современной России скорбь по тем или иным причинам не могла проявляться прямо, и это способствовало появлению «кривого горя» – косвенной скорби, принимающей любопытные формы в искусстве и общественных взаимодействиях. Примерно то же самое можно сказать применительно к Казахстану, где не случилось необходимой «работы скорби» по трагическим событиям, и неоплаканная, неосознанная утрата продолжает проявляться в культуре и обществе в самых разных формах.

Через скорбь человек приходит к осознанию необратимости прошлого, а также к собственной отделенности от него. Постпамять характеризуется отождествлением себя с объектом утраты, но при этом стремится разграничить прошлое и настоящее – отделить себя от родителя. Художники постпамяти работают с ощущением этой потери, с индексом без референта, со следом. Они указывают на это отсутствие, активно присутствующее в настоящем. Например, канонический художник постпамяти Кристиан Болтански создает инсталляцию «Пропавший дом» с именованными табличками на месте разрушенного дома на 15/16 Grosse Hamburger Strasse в Берлине, в котором жили еврейские семьи. Эти таблички настаивают на

¹ *Freud, S. Mourning and Melancholia // The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XIV (1914–1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works / ed. Strachey J. – London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis, 243, p. 237–258.*

принятии зрителем того, что произошло¹. Похожий прием использует Шимон Аттье, который проецирует фотографии исчезнувших еврейских семей на фасады домов, в которых они жили². Аттье при этом использует фотографию – действенный в силу своей индексальности медиум, который Хирш считает «соединяющим память и постпамять»³.

Художники постпамяти часто работают с собственной семейной историей и самоидентификацией как носителей следов травмы – с личными и апропрированными воспоминаниями, смешивая фактическую историю и воображенную. Эта смесь факта и воображения приводит к тому, что индекс (след) в произведениях может быть как аутентичным, так и искусственным. В произведениях художников постпамяти важно само место отсутствия, активизирующее скорбь, чтобы через скорбь прийти к осознанию потери.

Если постпамять видит и осознает, что прошлое продолжает влиять на настоящее, то концепция концентрационной памяти Поллок и Сильвермана предостерегает от незаметного проникновения тоталитарного прошлого в пост-тоталитарное настоящее, а также в мировую популярную культуру и искусство. Не замечая паттернов и признаков тоталитарного мышления, мы рискуем нормализацией такого мышления – нормализацией «деполитизированного, дегуманизированного видения десоциализированного мира»⁴. «Концентрационное» – термин, который Поллок и Сильверман заимствуют из текста бывшего узника нацистских концлагерей писателя и активиста Давида Руссе *L'Univers concentrationnaire* – «Концентрационная вселенная» (1946). Концентрационная вселенная – это не только вселенная, где «возможно все», но и особая политическая система, которая

¹ *Saltzman, L.* What remains? // *Making Memory Matter: Strategies of Remembrance in Contemporary Art.* – University of Chicago Press, 2006.

² *Hirsch, Past Lives: Postmemories in Exile,* p. 441.

³ *Ibid,* p. 429.

⁴ *Pollock, G. and Silvermann, M.* *Concentrationary Memories: Totalitarian Terror and Cultural Resistance.* – London: I.B. Tauris, 2014, p. xviii.

функционировала не внутри концентрационных лагерей, но в обществе, которое использовало лагерь как инструмент¹. Остатки концентрационного мышления – *концентрационная память* – могут продолжать существовать в современном обществе и заражать современную культуру. Поэтому после Холокоста и ГУЛАГа человечество должно оставаться бдительным к знакам и признакам тоталитаризма, к которым мы можем быть слепы в силу их повседневности, привычности. Обязанность «искусства после концлагеря», или *концентрационного искусства* – активировать эти признаки в настоящем, делать их видимыми, чтобы тоталитарное прошлое не повторилось.

При этом, когда мы говорим о бдительности, это не только бдительность к признакам вовне, но и постоянное вопрошание себя художником: этична ли моя работа, чей взгляд она перенимает и воспроизводит, вызывает ли она сочувствие к жертве или спекулирует чужой болью, наконец, какой посыл она несет в себе? Иными словами, каждый акт творчества художника, работающего с болью других, с исторической травмой, становится ответом на парадоксальный вопрос Теодора Адорно о варварстве искусства после Освенцима.

Если обобщить мысль этой подглавы: понять и принять травматичное прошлое можно, во-первых, через отделение его от настоящего, разотождествление с ним. Но во-вторых, парадоксальным образом – замечая и делая видимыми его следы в настоящем. Процессы коллективной скорби могут облегчить исцеление, а бдительность к признакам тоталитарного мышления в настоящем – помочь построить более демократичное, ответственное и здоровое общество.

Пространства памяти

В одной из монографий о коллективной памяти приводит-ся такое определение: *в самом простом смысле, память – это*

¹ Pollock, G. and Silvermann, M. Concentrationary Memories: Tracing Totalitarian Violence in Popular Culture. – London: I.B. Tauris, 2015, p. 7.

наше отношение к прошлому, это то, как мы ощущаем себя во времени¹. К этому определению я бы добавила: во времени и пространстве. Начиная с раннего теоретика коллективной памяти Мориса Хальбвакса, который оперировал понятиями «внешнего» и «внутреннего», заканчивая современными исследователями, говорящими о «местах памяти» (Нора), «горизонтах памяти» (Ассманн), можно проследить тенденцию представлять память как рассеянное в пространстве явление. Коллективная память не только привязывается к месту, хранящему следы события, но и сама по себе воображается как что-то, существующее в пространстве, которое одновременно и формируется обществом, и формирует его.

Если мы согласимся с тем, что коллективная память существует в пространстве, то я хочу предложить два пространственных режима – физическое пространство и семиотическое пространство. Эти пространства не непроницаемы, но постоянно перетекают друг в друга в человеческом восприятии действительности. Реальный ландшафт проходит символизацию изображением и становится знаком, а текст и изображение могут помещаться в ландшафт и становятся объектами. Четко разграничить эти пространства невозможно, но это и не является моей задачей. Я их выделяю для удобства артикуляции.

Физическое пространство хранит в себе след события – индекс. Это реальный след, отпечаток прошлого в настоящем, как, например, надписи на Рейхстаге. Символизация пространства происходит, когда след воображается. Знание события, произошедшего в определенном месте, изменяет наше восприятие места. Именно поэтому заброшенные здания психиатрических больниц кажутся более пугающими, чем просто заброшенные здания. В этом случае память обрабатывает реальное пространство, переводя его в регистр воображения.

¹ Olick, J.K., Vinitzky-Seroussi, V., and Levy, D., eds. *The Collective Memory Reader*. – New York: Oxford University Press, 2011, p. 3.

Семиотическое пространство также хранит в себе след. Самый простой пример – фотографическое изображение, которое является неким световым слепком с пространства. Фотография отсылает к событию и является индексом в чистом виде. Менее очевиден след в пространстве текстовом. След в тексте трансформируется в не-символ – в связь означающего с означаемым. Связь эта эластична и хрупка, а слова не всегда могут вместить в себя событие, в особенности, событие травматическое, которое ускользает от символизации. Можно сказать, что, например, мемуары людей, переживших травму, содержат в себе следы события, переведенные в язык. Память во многом существует в текстовом виде, и, читая, мы идем по этим растворенным в тексте следам.

Если говорить о постсоветской памяти, она рассеивается и концентрируется в обоих типах пространств. Постпоколения наследуют физическое пространство: мы живем в городах, домах, поселках, построенных в период существования СССР, которые формируют наши тела, как слепки из папье-маше. Физическое пространство задает направления нашим передвижениям – прямые улицы, квадраты домов, что в какой-то степени определяет наше ощущение себя в мире. Мы также наследуем семиотическое пространство – не только книги, фильмы, песни, произведения искусства, но также мемуары, свидетельства, фотографии. Задача художника – прочтение этой памяти и создание некой контр-памяти. В этом художник уподобляется потоку, принимающему и производящему.

Работа с физическим пространством подразумевает как изучение его средствами фотографии, рисунка, живописи, которые переносят слепок – миметический знак – на поверхность, оторванную от референта, так и работу непосредственно с местностью или объектом, как в инсталляции, лэнд-арте, архитектуре и скульптуре.

Выше я описала возможную перспективу взгляда на работу с коллективной памятью. При этом разные художники подходят к этой теме по-разному и используют различные методы.

Ниже я расскажу о моих работах и методологии. Это работы, объединенные общей темой постсоветской памяти: инсталляция «Машина» (2013), недавний проект «Окна Толерантности» (2017) и мое текущее художественное исследование памяти о голоде в Казахстане.

* * *

Опираясь на то, что художественная практика часто строится на интуитивном знании, я могу выделить несколько методов, которые я применяю в своей работе. Во-первых, я стремлюсь работать через телесное знание (embodied knowledge), или знание, воплощенное в теле, подразумевающее физическую вовлеченность в создание произведения. Примером может быть перформанс, но также рисование от руки, вышивание. Телесное знание отсылает нас к аспекту телесности травмы, существующей как бессознательное. При этом в моей практике важен ручной труд – через длительный и многократно повторенный ручной труд я проживаю боль других. Во-вторых, я работаю с физическим пространством, которое либо становится частью произведения, как в инсталляции, либо перерабатывается в семиотическую поверхность.

Инсталляция «**Машина**» была создана в 2013 году к выставке *1937 Жоктау – Территория памяти*, посвященной памяти жертв сталинских репрессий в Казахстане (см. Иллюстрации). В работе тысяча ордеров на арест соединяются нитью красного цвета со старой механической пирушкой машинкой образца 1929 года.

Красная нить служит визуализацией событийного следа в пространстве. О взаимозаменяемости двух основных видов линии – следа и нити – говорит, в том числе, Тим Инголд, утверждая, что *нити могут превращаться в следы, а следы в нити, и подобные превращения одновременно создают и растворяют поверхность*¹. В инсталляции нить выступает одно-

¹ *Ingold, T. Lines: A Brief History.* – London, New York: Routledge, 2007, p. 54.

временно и как скульптурный элемент – она осязаема, и как графический – глаз воспринимает нить как штрих, как линию, соединяющую действие и следствие, пишущую машинку и ордер на арест.

Ордера на арест также отсылают к следу события. Образцы ордеров были скопированы с реальных документов. Фамилии арестованных были стерты, но подписи ответственных лиц оставлены и размножены. Таким образом, каждый ордер становится индексом, отсылающим к реальному лицу. Изначальное изображение хранит в себе прикосновение исполнителя, копированное и умноженное, оно становится знаком – символом события в культурной памяти.

Пишущая машинка в инсталляции представляется безликой Машиной, символом хорошо налаженного механизма уничтожения в рамках тоталитарной системы. Она символизирует дистанцию и анонимность, облегчающие совершение жестокости¹. Кафкианский аппарат, поглощающий индивидуального человека.

В процессе создания работы я протягивала каждую нить вручную – подобное многократное повторение становится ритуалистическим актом скорби. В идеальном воплощении этой работы я бы хотела протянуть нить к каждому пострадавшему от машины уничтожения – их не тысяча, а сотни тысяч.

Акт ритуалистического повторения я применяю в другой своей работе «Окна Толерантности» (см. Иллюстрации). Этот проект начался в 2016 году серией драйвов по городскому пространству Алматы, бывшей столице КазССР.

¹ Ребекка Литман считает жестокость противной человеческой природе, и обычный человек старается избежать актов жестокости, когда они предполагают телесное взаимодействие. Анонимность и дистанцированность от объекта насилия переводят акты жестокости в ряд теоретических, так как не требуют причинения вреда человеку напрямую. См. *Rebecca Littman and Paluck, E.L. Cycles of Violence: Understanding Individual Participation in Collective Violence // Advances in Political Psychology*, vol. 36, no. 1, 2015, p. 85.

Фотографирование выявило интересную деталь – если обилие зарешеченных окон в городе всегда было заметно, то именно коллекция фотографий показала впечатляющее разнообразие орнаментов оконных решеток. Меня впечатлило смешение кодов – от строго геометрических до вычурных восточных, слитых в единые металлические конструкции, одной металлической нитью сшивающие здания города в стальное кружево.

Я рассматриваю оконную решетку как симптом проявления постсоветской травмы в городском пространстве. Хотя решетка является символом человеческого общежития и встречается по всему миру, в бывших советских странах, прошедших через шок коллективизации имущества в тридцатых годах, а затем обратный шок приватизации в девяностых, решетка приобретает дополнительное значение. Она становится эффективной точкой деконструкции частного и общественного, внешнего и внутреннего – и поэтому эффективной художественной метафорой.

Я распечатала фотографии окон на холстах и затем вышила их. Вышивка накладывалась поверх изображений оконных решеток, повторяя их орнамент, таким образом паттерны решеток служили схемой для рукоделия.

Вышивание в этой работе – это одновременно и миметический акт, воссоздающий «работу травмы», и попытка исцеления. Поллок приводит одно из менее распространенных этимологических значений слова «травма» – прокалывать¹. Травма пронзает оболочку сознания, она прорывается из бессознательного навязчивым повторяющимся симптомом. Вышивание как повторяющееся прокалывание поверхности миметирует симптоматику травмы. Орнамент прошивается вторично – текстура холста изменяется этим вторжением дополнительной нити, которая идет по следу – контуру ор-

¹ *Pollock, G. After-Affects/After-Images: Trauma and Aesthetic Transformation in the Virtual Feminist Museum. – Manchester: Manchester University Press, 2013.*

намента, закрепляя, подчеркивая его. При этом я вышиваю в хирургических перчатках, подчеркивая попытку исцелить то, что не поддается исцелению.

С другой стороны, вышивание традиционно ассоциируется с женским рукоделием и пассивностью. Вышитые изделия призваны украшать быт, но, если подумать, вышивание может быть довольно тяжелой работой, так как многократное прокалывание жесткой ткани ранит пальцы, которые со временем становятся менее чувствительными к боли. Это сниженный порог чувствительности к повторяющейся жестокости, к следам террора в обществе, когда насилие воспринимается как норма. Через акт вышивания я также стремлюсь активизировать бдительность к пережиткам мышления эпохи террора, которые мы можем не замечать в себе.

В этой работе физическое пространство городского пейзажа – зданий и окон – переводится в цифровую плоскость – фотографию, а затем на поверхность ткани. Подобный процесс трансляции растворяет реальное пространство, переводя его в символическое. Реальное явление превращается в изображение, пластичное и изменчивое, и в то же время в текст, который я стремлюсь прочитать, но одновременно переписать, заимствуя дерридеанскую мысль о чтении текста, как вышивании. Жак Деррида сравнивает чтение текста с вышиванием. Чтение – это письмо, и читающий становится автором текста, так как в своем восприятии пишет его заново. Такое чтение подобно вышиванию – добавлению нити в уже имеющееся переплетение нитей, в текст(иль)¹. Через чтение-переписывание пространства памяти я стремлюсь создать альтернативное пространство, в котором скорби дозволено проявиться.

Кроме того, вышивание – это вид письма, вид оставления следа на поверхности, а письмо, в свою очередь, используется как одна из мнемонических техник. Мы учимся писать через повторение, мы выводим снова и снова ряды идентичных

¹ *Derrida, J. Plato's Pharmacy, 1968, p. 63.*

букв в прописи. Эти буквы не складываются в слова, но так и остаются повторяющимися цепочками «а» и «о» – знаками без значения, единственным предназначением которых является закрепление телесного навыка. Таким же образом вышивание в этой работе стремится не столько придать смысл культурному явлению или найти ему объяснение, сколько стать самим актом памяти, когда через ритуалистическое трудоемкое повторение мы учимся помнить.

Документация процесса вышивания показана в видео **«Вальс о Весне»** (см. Иллюстрации). Это двуканальное видео, противопоставляющее два изображения – съемку реального пейзажа и мой перформанс. Такой прием двойного зрения расщепляет реальность на видимую и воображаемую. До момента начала вышивания оба изображения выглядят идентичными. Игла, пронзающая ткань во втором изображении, разбивает эту иллюзию, и после этого зритель наблюдает одновременно два модуля – движущийся в собственном ритме реальный пейзаж и постепенное вышивание его копии красной нитью.

Свое название «Вальс о Весне» видео заимствует из названия песни, звучащей за кадром. Это песня из советской музыкальной комедии «Наш милый доктор», снятой в одном из Алматинских санаториев в 1956 году. По сюжету фильма пациенты готовят концерт в подарок к юбилею своего доктора. Красивая песня, исполненная Бибигуль Тулегеновой и написанная Яковом Зискиндром и Александром Зацепиным, резонирует со своей эпохой – написанная в период оттепели, через несколько лет после смерти Сталина, она повествует о долгожданном приходе весны – о наступлении фактического «времени после».

Повторение и рисование от руки я применяю в качестве методов художественного исследования в моей текущей работе под предварительным названием **«Страшнее земли»**. «Страшнее земли» – это отсылка к риторическому вопросу Михаила Бахтина «Что может быть страшнее земли?» в его тексте о смеховой культуре Средневековья. Бахтин полагает, что «земля», или «низ», воплощает в себе концентрацию стра-

хов средневекового человека. Это страх, прежде всего, перед поглощением земель – перед смертью и преисподней¹. Я провожу параллель между землей и социальным классом, который был ближе всего к ней, между пейзажем и крестьянами (пейзажами), а в случае Казахстана – кочевыми скотоводами, которые зависели от земли, от пастбищ, которые не оставляли следов и ушли в землю, стали землей во время голода 30-х годов прошлого века. Работа «Страшнее земли» – моя попытка прикоснуться к остаткам памяти об Ашаршылыке – Голодоморе – в Казахстане.



Страшнее земли. Бумага, уголь, анимация. 2018 г.

Сложность работы с памятью об этом трагическом событии заключается в том, что, во-первых, оно произошло довольно давно, восемьдесят лет назад, и сейчас почти не осталось живых очевидцев, которые могли бы рассказать о нем. Так как эта тема находилась под запретом в СССР, о голоде не говорили, и неразделенные воспоминания жили и умирали вместе со свидетелями. Поэтому сегодня мы имеем огромный пласт не-

¹ *Бахтин М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса.

проговоренной памяти, практически стертой из общественного сознания. Во-вторых, я сталкиваюсь со сложностью коммуникации травматического опыта, который просто не помещается в понимание. Невыразимость травмы подчеркивают многие авторы, в том числе Примо Леви, который говорит о том, что с этической позиции свидетельствовать может только невыживший, так как выживший всегда сотрудничает с угнетающей силой, ведь выжить в концлагере, который Леви называет «серой зоной», можно только приняв его законы¹. Однако невыразимость для меня заключается не только в этом аспекте: чтобы понять, ты должен хоть немного почувствовать боль другого человека, но как не дать этой экстремальной, убийственной боли разрушить тебя самого?

В работе я обращаюсь к мемуарам из книги Валерия Михайлова «Хроника Великого Джута». В восьмидесятые годы Михайлов проделал огромную и важную работу по сбору информации о коллективизации в Казахстане. Он приводит рассказы очевидцев, которых немного, но которые дают представление о природе и масштабах трагедии. Моей целью является анимация этих воспоминаний, чтобы через процесс рисования и мультипликации (умножения) понять работу памяти и травмы и предел ее выражения в границах текста. Рисование – это моя попытка прикосновения к боли, но также и попытка контроля над ней. Рисунки объединяются в одну продолжительную онейрическую анимацию, в которой смешиваются события реальные и воображаемые. Видео строится на ассоциациях, но имеет в своей основе реальные воспоминания.

Анимация помогает мне понять процессы памяти с разных сторон – памяти как долга (мы обязаны помнить) и памяти как сообщения, передаваемого межпоколенчески и межкультурно (мы не можем не знать). Так же, как и вышивание, анимация предполагает многократное повторение одного и того же дей-

¹ *Levi, P. The Grey Zone: The Drowned and the Saved.* Trans. Raymond Rosenthal. – London: Abacus, 1989.

ствия и схожа с мнемоническими техниками переписывания текста. Одна и та же сцена или персонаж рисуются множество раз, и с каждым разом на бумаге остается след, который сначала легко стирается, но затем въедается в поверхность, становится частью поверхности.

Я работаю как с образами, подсказанными собственной памятью и воображением, так и с фотографиями, найденными в сети. Голод в Казахстане практически не был документирован на пленку, есть лишь несколько фотографий, по которым мы можем как-то представить общую картину. В частности, мне интересен образ Филиппа Голощекина, которого помнят как главного исполнителя политики коллективизации в Казахстане. Это участник события, у которого есть лицо, в отличие от сотен тысяч безликих и неизвестных дегуманизированных жертв. Образ Голощекина дает мне возможность еще раз обратиться к вопросу личной ответственности в массовой жестокости.



Страшнее земли. Кадр из видео. Бумага, уголь, анимация. 2018 г.

Работа над этим проектом открыла мне еще одну особенность – невосприимчивость современного глаза к изображениям жестокости и страдания. Для того чтобы создать образ,

я сначала рисую с фотографии, например, ребенка, чье тело изуродовал голод. Это очень тяжелый процесс, который истощает меня эмоционально так, что несколько дней после этого я не могу работать. Копирование – это немного иной вид взгляда, так как копирование обязывает к близкому контакту с оригинальным изображением. Это продленный и предельно внимательный взгляд, который открывает детали, возможно, ускользающие от взгляда обычного зрителя, который смотрит на изображение пару секунд и может легко отвернуться. Длительный взгляд с целью копирования задерживает мое внимание на высохших конечностях, вспухшем животе и серьезном зверином взгляде, и я чувствую телом страдание этого умирающего от голода ребенка. Тем не менее для зрителя мой рисунок – это та же поверхность, при этом утратившая часть своей индексальности, так как это уже не фотографическое изображение, и оно не производит настолько сильного эффекта. При этом фотография, транслированная в анимацию, даже при своей натуралистичности теряет в аффективности, потому что анимация традиционно гротескна, и, благодаря Диснею и Пиксару, мы привыкли к искажениям человеческих пропорций.

Наше сознание отторгает образы жестокости и боли, естественная реакция на которые – отвернуться, не смотреть. В столкновении с чем-то отвратительным (например, мертвым телом) человек переживает конфликт собственной субъективности, телесная реальность врывается через отвратительное, такая встреча травматична, она заставляет нас не сопереживать, а отворачиваться. В этом проблема репрезентации жертв насилия, так как вместо сочувствия зритель отвращается от травмирующего изображения.

Это подводит нас к проблеме эстетики в изображении голодомора. С одной стороны, телесное переживание голода делает чрезвычайно острой саму мысль о голодной смерти. Так как каждый знает, что такое голодные позывы, он может представить воздействие голода на собственное тело, и

теоретически подобная образность должна быть эффективной в создании отклика в зрителе. Но при этом иконография голода настолько вошла в обыденную жизнь, а фотографии голодающих настолько распространены и доступны, что воспринимаются как нечто повседневное и не производят должного эффекта¹. Ко всему, этический вопрос об изображении страдающего тела, человека в униженном, дегуманизованном состоянии вновь обращает нас к парадоксу Адорно об искусстве после Освенцима. Как художнику и зрителю не превратиться в варваров, упивающихся страданием другого, ведь изображая жертв в их дегуманизованном состоянии, мы обнажаем их, мы повторяем акт насилия, тем самым общаясь к их палачам.

Поэтому я стремлюсь к метафоричности и иносказательности. Через аллегорию, импликацию, монтаж и звук я стремлюсь создать работу, которая передавала бы ужас произошедшего, при этом не спекулируя изображениями жертв. В поиске метафор я ориентируюсь на тексты воспоминаний. Например, Михайлов начинает свою книгу с воспоминания поэта Гафу Каирбекова. Это детское воспоминание. Трехлетний Гафу спит в телеге, его семья, спасаясь от голода, откочевывает из аула в соседний город. Мальчик просыпается, видит полную луну, смотрит на нее, затем поворачивается, смотрит на дорогу, вдоль которой лежат груды замерзших тел. Он не до конца понимает, что это. В воспоминании он сравнивает мертвые тела с деревьями, говоря, что это были застывшие тела

¹ В своей работе о фотографе Кевине Картере, сделавшем печально знаменитый снимок суданской девочки и стервятника, художник Альфредо Джаар решает не показывать фотографию, которая стала трагической визитной карточкой фотографа. За секунду до появления фотографии на экране зрителей ослепляет мощная вспышка прожектора, и изображение после него видится будто сквозь вуаль. Тем не менее, я считаю, что это не производит должного эффекта, так как фотография настолько известна, что зритель, наверняка неоднократно видевший ее в медиа, не получает нужного сообщения – он уже помнит эту фотографию.

со скрюченными ветками-руками¹. Этот образ отпечатывается в его – и нашей – памяти. Тот, кто не видел замерзших на морозе трупов, но видел груды поваленных деревьев, может представить картину. Деревья – это поэтическая метафора, которую я вычлению из текста и работаю с ней. Тела людей, которые, по воспоминаниям очевидцев, покрывали огромные просторы степи, лежали вдоль дорог, по которым эти люди пытались уйти от голода. Тела, которые стали частью пейзажа на короткое время, а затем ушли в землю, не оставив следов.



Страшнее земли. Бумага, уголь, анимация. Кадр из видео. 2018 г.

Работая с воспоминаниями других людей, я вглядываюсь вглубь события, я пытаюсь воссоздать в визуальном то, что сейчас существует, в основном, как текстовое. Это неизбежная реконструкция события, подобная реконструкции кинематографической. Тем не менее я не стремлюсь к реконструкции фактов, но больше – к созданию ощущения одновременно и изменчивости памяти, и ее навязчивости. Навязчивость памяти

¹ Михайлов В. Хроника великого джута. – Алма-Ата: Жалын, 1996. С. 4.

проявляется через следы и симптомы присутствия травматичного *не-знания* о событии, которое мы, почти не помня, все же не можем забыть. Я стремлюсь к максимально честной работе с воспоминаниями других людей, которые нашли в себе силы поделиться ими, так что их воспоминания стали частью общественной памяти. Но при этом мое прочтение, как и любое авторское прочтение, обречено быть частично воображенным, апроприированным и неизбежно фрагментарным.

Если обобщить сказанное, через прикосновение, ручной труд, длительность и ритуалистическое повторение я работаю с наследованной межпоколенчески памятью о сталинском терроре в Казахстане. Насколько эффективны эти методы, какой в итоге получится моя работа о голоде, можно будет сказать только спустя некоторое время. В данный момент мне ясно одно: в творческом процессе генерируется понимание, которого бы у меня не было при чисто теоретическом изучении вопроса.

* * *

В предыдущей главе я рассмотрела особенность постсоветской памяти, характеризующуюся наличием неосмысленной и непроявленной, застывшей во времени травмой сталинского террора. Полноценная работа с этой памятью в Казахстане только начинается и должна проводиться междисциплинарно. С ней должны работать историки, юристы, но также и художники. Искусство может выступать медиатором коллективной памяти и инструментом создания *контр-памяти*, что частично происходит в современном казахстанском искусстве, которое сознательно и бессознательно перерабатывает образы советского и пре-советского номадического прошлого в постмодернистском смешении кодов и символов. Тем не менее осязимо трагическое наследие сталинского террора, которое требует особого подхода со стороны художников, принимающих этические и эстетические вызовы интерпретации и отображения этого наследия, предполагающие деликатное обращение с историческим и личным материалом.

Об авторе

Асель Кадырханова – художник, PhD кандидат в Университете Лидса, Великобритания. Работает в разных медиа, таких как живопись, рисунок, инсталляция и видео. В данное время занимается практическим докторским исследованием на тему коллективной памяти в постсоветском пространстве. Родилась в городе Алма-Ата Казахской ССР. Окончила Республиканский Художественный колледж (2001), Казахскую Национальную академию искусств им. Жургенова (2007), Университет Ньюкасла, Великобритания (2011). Является выпускницей международной стипендиальной программы «Болашак», а также получателем Leeds Anniversary Research Scholarship. Из последних выставок: Окна Толерантности, персональная выставка, Лидс, Великобритания (2017); Внутренняя память – недостаточно места, видеопозаказ, Москва, РФ (2017); Suns and Neons above Kazakhstan, Баку, Азербайджан (2017).

Литература

Ассманн А. Длинная тень прошлого. – Москва: Новое литературное обозрение, 2006.

Ассманн Я. Культурная память: Письмо в великих культурах древности. – Москва: Языки славянской культуры, 1992.

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса [Электронный ресурс] // http://www.bimbad.ru/docs/bakhtin_rablai.pdf

Бахтин М. Эстетика словесного творчества. / Сост. Бочаров, 2-е издание. – Москва: Искусство, 1986.

Кобылин И. И. Возвышенный объект биополитики. Дж. Агамбен о проблеме свидетельства. – Нижегородская государственная медицинская академия, 2011.

Михайлов В. Хроника великого джута. Алма-Ата: Жалын, 1996.

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. С.Н. Зенкина. – Москва: Новое издательство, 2007.

Agamben, G. Homo Sacer III Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive. – New York: Zone, London: MIT, 1999.

Adorno, T. Commitment. 1962. (an essay)

Apel, D. The Artist as Secondary Witness. // Memory Effects: The Holocaust and the Art of Secondary Witnessing. – New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press, 2002.

Arendt, H. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. – New York: Penguin Books, 1994.

Arendt, H. Origins of Totalitarianism. – New York: Harcourt, Brace and World, 1966.

Assmann, A. Canon and Archive // The Collective Memory Reader. – New York: Oxford University Press, 1998.

Assmann, J. Collective memory and Cultural Identity // The Collective Memory Reader. – New York: Oxford University Press, 2011.

Auge, M. Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. – London: Verso, 1995.

Barrett, E. and Bolt, B. Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry. – London: I.B. Tauris, 2010.

Caruth, C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History. – Baltimore, London: John Hopkins University Press, 1996.

Debord, G. Theory of the Dérive. 1958 [Электронный ресурс] // <http://www.bopsecrets.org/SI/2.derive.htm>

Derrida, J. Plato's Pharmacy. 1968. (an essay)

Etkind, A. Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of the Unburied. – Stanford, California: Stanford University Press, 2013.

Ettinger, B.L. Bracha Lichtenberg Ettinger: Artworking, 1985–1999. – Brussels: Palais des Beaux-Arts, Ghent: Ludion, 2000.

Freud, S. Mourning and Melancholia // The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XIV (1914–1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works / Edited by Strachey J. – London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis.

Gibbons, J. Contemporary Art and Memory: Images of Recollection and Remembrance. – London: I.B. Tauris, 2007.

Gigliotti, S. Unspeakable Pasts as Limit Events: The Holocaust, Genocide, and the Stolen Generations // Australian Journal of Politics and History, vol. 49, no. 2, 2003, p. 164–181.

Hartman, G.H. On Traumatic Knowledge and Literary Studies // New Literary History, vol. 26, no. 3, 1995, c.537-563.

Hirsch, M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust. – New York: Columbia University Press, 2012.

Hirsch, M. Past Lives: Postmemories in Exile // *Poetics Today*, vol. 17, no. 4, 1996, p. 659–686.

Huyssen, A. Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia. – New York, London: Routledge, 1995.

Ingold, T. Lines: A Brief History. – London, New York: Routledge, 2007.

Kristeva, J. Powers of Horror: An Essay on Abjection. – New York, Guildford: Columbia University Press, 1982.

Kristeva, J. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. – Oxford: Blackwell, 1983.

LaCapra, D. Trauma, History, Memory, Identity: What remains? // *History and Theory*, vol. 55, no. 3, 2016, p. 375–400.

Laub, D. An Event Without a Witness: Truth, Testimony and Survival // *Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History* / Ed. by Felman Sh. And Laub D. – London: Routledge, 1992.

Levi, P. The Grey Zone: *The Drowned and the Saved* / Trans. Raymond Rosenthal. – London: Abacus, 1989.

Littman, R., Paluck, E.L. Cycles of Violence: Understanding Individual Participation in Collective Violence // *Advances in Political Psychology*, vol. 36, no. 1, 2015, p. 79–99.

Olick, J.K., Vinitzky-Seroussi, V., and Levy, D., eds. The Collective Memory Reader. – New York: Oxford University Press, 2011.

Pierre, N. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // *Representations*, no. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory, 1989, p. 7–24.

Pollock, G. After-Affects/After-Images: Trauma and Aesthetic Transformation in the Virtual Feminist Museum. – Manchester: Manchester University Press, 2013.

Pollock, G. Art in the Time-Space of Memory and Migration. 2nd edition. – Freud Museum London: 2015.

Pollock, G. Art/Trauma/Representation. // *Parallax*, vol. 15, no. 1, 2009, p. 40–54.

Pollock, G. Photographing Atrocity: Becoming Iconic? // *Picturing Atrocity. Photography in Crisis* / Edited by Geoffrey Batchen, Mick Gidley, Nancy K. Miller, and Jay Prosser. – London: Reaktion Books Ltd, 2012.

Pollock, G. Death in the Image: The Responsibility of Aesthetics in Night and Fog (1955) and Kapo (1959) // *Concentrationary Cinema:*

Aesthetics as Political Resistance in Alain Resnais's *Night and Fog* (1955) / Ed. by Griselda Pollock, Max Silvermann. – New York: Berghahn, 2011.

Pollock, G. and Silverman, M. Concentrationary Memories: Tracing Totalitarian Violence in Popular Culture. – London: IB Tauris, 2015.

Pollock, G. and Silverman, M. Concentrationary Memories: Totalitarian Terror and Cultural Resistance. – London: I.B. Tauris, 2014.

Pianciola, N. The Collectivization Famine in Kazakhstan, 1931–1933 // Harvard Ukrainian Studies, vol. 25, no. 3/4, 2001: 237–251.

Saltzman, L. Making Memory Matter: Strategies of Remembrance in Contemporary Art. – University of Chicago Press, 2006.

Silverman, K. Subject of Semiotics. – New York: Oxford University Press, 1984.

Spiegelman, A. Maus: A Survivor's Tale. – London: Penguin, 2003.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение | *Катриона Келли* 6

Раздел I. ИСТОРИЯ 17

Государство ограниченного благоденствия: Об утопии и терроре в Третьем Рейхе и Советском Союзе | *Михаил Акулов* 24

Антикрестьянская репрессивная политика сталинского режима и ее практика в Казахстане (конец 1920-х – начало 1930-х годов) | *Жулдузбек Абылхожин* 47

Сюжет из истории Академии наук Казахской ССР в начале 1950-х годов, или История одного «письма» в ЦК ВКП(б) (по материалам РГАСПИ) | *Зауреш Сактаганова* 85

Раздел II. ПАМЯТЬ 107

Алтыншаш | *Юрий Серебрянский* 114

Ветер времени сушит траву забвения | *Екатерина Кузнецова* 134

Между забвением и памятью | *Александра Цай* 159

Раздел III. ИСКУССТВО 181

Возвращенные имена | *Мариника Бабаназарова* 186

«Наш лагерь в город перерос...». Искусство репрессированных художников в Караганде (конец 30-х – начало 60-х годов XX века) | *Гульдана Сафарова* 219

Бесконечное время «после». Искусство как инструмент осмысления культурной памяти и травмы в постсоветском Казахстане | *Асель Кадырханова* 245

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

**Сталинизм в Казахстане –
Прошлое, Память, Преодоление**

*Коллективная монография под редакцией
Ж.Б. Абылхожина, М.Л. Акулова, А.В. Цай*

Литературный редактор *Л. Калаус*
Художник обложки *З. Фалькова*
Дизайнер *К. Карпун*
Верстка *В. Корешковой*

Подписано в печать 07.06.2019. Формат 60 × 90 ¹/₁₆.
Усл. печ. л. 17,0 + 0,75 л. вкл. Уч.-изд. л. 14,0.
Тираж 300 экз. Заказ №

ТОО «Дайк-Пресс»
050009, г. Алматы, пр. Абая, 143, оф. 220.
Тел.: 394-40-45, 394-42-32
e-mail: daikpress@mail.ru
Директор Б. А. Казгулов

ISBN 978-601-290-110-8

